

К I 1284631



ВОЛОГДА · XX ВЕК



Александр ГРЯЗЕВ

РУССКИЙ СОКОЛ

Александр ГРЯЗЕВ

Грязев Александр Алексеевич родился 9 ноября 1937 года на станции Лондоко Хабаровского края. Но жил там недолго: уже в следующем году переехал с родителями на их родину в село Железный Борок Буйского района Костромской области, которое стало и его родиной. Учился в сельской семилетке и в школе № 2 г. Буя. Служил в воздушно-десантных войсках в г. Пскове. Работал на стройке и в сортопрокатном цехе Череповецкого металлургического завода. В Вологду переехал в 1973 году. Работал в газетах «Красный Север» и «Вологодский комсомолец», заведующим бюро пропаганды художественной литературы при Вологодской писательской организации, стереотипером в областной типографии, редактором епархиальной газеты «Благовестник». С 1993 г. по 1998 г. — ответственный секретарь Вологодской писательской организации.

В 1978 г. в Москве А. Грязев закончил Высшие театральные курсы (драматургия) при ГИТИСе. Автор двух пьес, поставленных в Вологде и Череповце, «Всего два дня» (1976 г.), «Одиноким предоставляется общежитие» (1982 г.), а также книг «Подобру да поздорову», «Чтобы свеча не угасла», «Грех игумена». Печатался в «Литературной России», «Русской жизни» (Сан-Франциско, США), журналах «Север», «Наш современник», «Поле Куликово», «Дальний Восток», «Россия молодая».

ГРЕХ ИГУМЕНА

Взмыленные кони свернули с вологодской дороги и, тяжело дыша, остановились у деревянных стен Кириллова монастыря. Великий князь московский Василий Васильевич Тёмный, поддерживаемый под руку воеводой Оболенским, осторожно вышел из возка.

Шитый серебром короткополый кафтан, сафьяновые сапоги, чёрная повязка на глазах. Рядом с Василием — шестилетний сын Иван. Воевода, наклонившись, что-то сказал великому князю. Тот снял шапку с парчевым верхом, осенил себя крестным знамением и низко поклонился в сторону святых ворот монастыря, под сводом которых сиял образ чудотворца Кирилла. Позади князя закрестились спешенные ратники.

Высокий чернец отворил дубовые воротины, пропуская за ограду знатного путника и его челядь.

Игумен Трифон с братией встретил князя у крыльца своей кельи. На голове — высокий клобук, черная мантия до самой земли, под белой длинной бородой на серебряной цепочке — яркий блестящий крест-мошевик.

— Радость или печаль привели тебя в обитель нашу, великий князь?

— Помолиться приехал, отче, да милостыню братии вашей дать,— сказал Василий, подходя под благословение и целуя руку игумена.

— Да хранит тебя Господь за дела твои благие, государь,— Трифон перекрестил князя.— Не отдохнешь ли с дороги?

— Нет, отче. Спешное дело торопит меня. Надобно поговорить нам, отец Трифон.

В просторной игуменьей келье светло и чисто. Мшитые стены увешаны иконами, перед которыми горят лампы. Пахнет конопляным маслом, ладаном и воском. Вдоль стен — широкие струганные лавки. Посреди кельи небольшой стол, покрытый скатертью из алой в разводах камки.

Переступив порог, игумен долго крестился на иконы, шепча молитву. Затем он усадил князя в кресло, сам сел напротив.

— Говори свое дело, государь Василий Васильевич. Вижу, не с одними молитвами ты к нам пожаловал,— начал Трифон.

— Истинно так, не токмо с молитвами,— ответил Василий и замолчал. Собираясь с мыслями, он поправил повязку на глазах, пригладил волосы. Наконец решился.

— Ведомо ли тебе, отче, про углический собор?

— Ведомо, государь, ведомо. И меня звали, да не поехал.

— Мало, видно, Шемяке было глаз моих, отче, так созвал он в Углич епископов и честных игуменов всей земли русской на святой собор. Заставил меня крест ему целовать. Клятву взял не искать мне боле престола московского. А в удел мне Вологду дал...

Василий остановился, ожидая, что скажет игумен. Но тот молчал.

— А как мне не искать стола московского, коли Москва — отчина моя от деда моего и отца?

Трифон ничего не ответил. Он знал, почему Василий приехал сюда к нему, а не в другую обитель, каких много было на его пути.

Давняя дружба у монастыря с московскими князьями, еще от первого строителя Кирилла. Отцу Василия и другим писал преподобный Кирилл поучения да советы давал, как править и жить. Зато здесь вклады денежные, рыбные ловли, деревни с крестьянами — все это от них, князей московских.

— Да, нельзя тебе, такому государю, в такой дальней земле зато-чѣну быть,— только и сказал Трифон, желая, видно, выслушать великого князя до конца.

Василий собирался с мыслями перед самым главным.

— Решил я, отче,— начал он,— идти ныне на Москву. Да как пойдѣшь, коли опутал меня Шемяка клятвою, как паук тенетом. Преступлю её — и пойдут супротив меня не только враги мои, но и друзья. Вот и приехал я, отче, совета твоего спросить и помощи получить. Сними с меня крестное целование, данное Шемяке.

Трифон сидел, как чёрное изваяние. Только, перебирая четки, медленно пошевеливались пальцы его старческих, будто из воска рук.

— Трудное твое дело, государь,— наконец сказал Трифон,— трудное вельми. Не перед одним Шемякой вина твоя, но и перед народом русским. Потому князю Дмитрию и удалось тебя сломить, что больно ты обидел народ свой, государь.

Василий подался вперед.

— Чем же, отче?

— Из плена возвратясь, много ты поганых татар привел с собою. А народ устал от брани, от поборов татарских, да от татьбы их. Вот и пошли за Шемякой супротив тебя.

— За великий выкуп отпустил меня на волю Мухамед-хан. Видит Господь: не по своей воле свершил я грех сей. Но сил и живота не пожалею, а искуплю вину свою перед Господом и народом русским. Верь мне, отче. Отпусти обет мой тяжкий.

— Верю я в твое праведное дело, государь. Верю, что десницей твердой покараешь ты врагов своих. Да только мыслимо ли дело, государь, чтобы скромная обитель наша супротив святого собора архипастырей земли русской шла. Не бывало еще такого на Руси.

— Не за себя прошу, отче,— взмолился князь,— не ради корысти своей, ради святой Руси, ради единения ее под началом Москвы. Помози утвердиться на престоле московском — не забуду до конца дней моих. От ворогов охороню, вклады внесу, земли в других уделах дам. Сыновьям своим и внукам накажу, чтобы делали все для обители сей. Вот в том порука моя,— и Василий положил десницу на плечо сидевшего рядом сына Ивана.

Старый игумен ничего не ответил князю. Бесцветные глаза его смотрели мимо Василия. Трифон поднялся со стула, перебирая четки подошел к слюдяному с железными переплётками оконцу.

Ветер лениво шевелил листву берёз у монастырской ограды. У трапезной и у квасоварни толпился народ. Два монаха рубили дрова. От мучного амбара к хлебне мужики тащили мешки с мукой. Тишиной и покоем веяло от всего вокруг, и чем-то далеким, неправдоподобным казались отсюда злые дела врагов Василия.

Все понимал и все знал старый игумен. Поганые сыродяцы — татары, как бешеные волки, все еще терзают русскую землю. Плетет свои козни литовский Казимир-князь, заигрывая с Новгородом и Псковом. Вот уже двадцать лет полыхает на Руси кровавая усобица, затеянная еще отцом Дмитрия Шемяки князем Юрием.

Не захотел Юрий признавать старшинства десятилетнего племянника своего — Василия. Забыл он обычай дедовский преемства великокняжеского стола от отца к сыну по старшинству, помыслил незаконно о великом княжении.

Ныне Москва в третий раз за княжение Василия захвачена галицким войском. Мстит великому князю Шемяка и за ослепление брата своего Василия Косого.

Кто выведет Русь из удельного раздора? Кто освободит ее от ига татарского?

Князь Дмитрий? Но он спит и видит Русь, разделенную на уделы.

Придет время, другой князь соберет против него свои дружины, и, кто знает, сколько еще лет будет литься кровь на земле русской.

Князь Василий? Вот он сидит перед ним — законный наследник престола московского. Да только связан позорною крепостью, нарушив которую, станет он клятвеннопреступником. Тогда не пойдут за ним ни москвитяне, ни люди других городов и уделов.

В его, игумена, силах освободить Василия от клятвы. Да только как пойти против собора! Не грех ли? Грех.

А если откажет он Василию? Тогда долго еще не бывать на Руси миру и тишине. Опять брат пойдет на брата, опять будет литься кровь, не грех ли? Великий грех.

Да и о братии своей думать надобно. Не забудет князь великую услугу. Не зря заговорил о вкладах да защите.

Но ведь и тогда прольется кровь, когда благословит он великого князя на праведный его путь. Не из этой ли крови и не из этого ли насилия родится на земле русской начало спокойствия и мира?..

...Да, тяжелую ношу взвалил ты на свои плечи, князь Василий. Трифон преклонялся перед его мужеством. Ни прошлогодний татарский плен, куда попал Василий после битвы под Суздалем с сыновьями Улу-Мухаммеда, ни студное дело двоюродного брата Дмитрия Шемяки, ослепившего Василия, не смогли сломить этого тридцатилетнего, но уже совсем седого человека.

Видно, ты ладно скроен да по-русски крепко сшит, внук Дмитрия Донского...

Трифон повернулся, спросил от окна:

— А есть ли войско у тебя, государь? С кем пойдешь на Москву?

— Будет, отче. Верные бояре и воеводы в Вологде, Ярославле, Костроме, в московских уделах, в Твери.

— В Твери? — переспросил игумен.— Но ведь князь Борис Александрович Тверской с Шемякой заодно.

— Нет, отче,— улыбнулся Василий.— отошел он от Шемяки. Мне подмогу обещал. От тебя, отче, к князю Борису поеду. А оттуда и на Москву.

Трифон подошел к столу. Остановился перед Василием. Тот встал, положив руки на плечи сына.

— Будь по-твоему, государь,— тихо, но твердо произнес игумен.— Тот грех на мне и на моей братии головах, что целовал ты крест и крепость давал князю Дмитрию. А потому искупим грех наш сегодня...

После литургии, когда в новой церкви Успения Пресвятой Богородицы никого из молящихся не осталось, Трифон с братией провели Василия

внутри деревянного храма. В церкви было светло и нарядно. Запах ладана не заглушил еще аромата недавно рубленных сосновых бревен. Огоньки свечей весело отражались в позолоте резного иконостаса и царских врат, через которые игумен и князь вошли в алтарь.

Это место, отделенное высоким иконостасом, было недоступно взорам простых мирян. Свет почти не проникал сюда. Алтарь же освещался одной свечой, которая стояла слева от престола. Игумен поставил Василия перед образом Пречистой Богородицы с Превечным Младенцем.

— Молись, государь, молись.

Василий опустился на колени.

Трифон раскрыл евангелие и, встав к аналою, начал читать молитву. Хор монахов на клиросе стройно подпевал, искусно вплетаясь в нее. Тихой тенью в алтарь зашел священник отец Анисим. Он разжег кадило и подал его игумену. Тот, продолжая читать, обошел вокруг Василия, махая кадиллом. Закончив чтение, взял кропило и, окунув его в блюдо со святой водой, широким взмахом окропил стоявшего на коленях князя. Затем, взяв в обе руки тяжелый крест, Трифон встал перед Василием и помог ему подняться. Произнес степенным речитативом:

— Поди, государь, с Богом и со своею правдою на великое княжение, на Москву. А мы за тебя, государь, Бога молим и благословляем на путь твой десный. Не раб ты боле Шемяке, а господин. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

— Аминь,— эхом отдалось на клиросе.

Трифон осенил Василия знаменем и поднес к трепетным губам великого князя холодный крест.

Когда выходили из церкви, на паперти их встретила толпа народа: монахи, нищие, странники, кормящиеся с монастырского стола.

Воевода Оболенский, идя впереди князя и Трифона, клал в протянутые дрожющие ладони чешуйки серебряных монет, наказывая молиться о здравии великого князя, государя земли русской. Суется и сбивая друг друга, люди падали на колени, крестясь и причитая, целовали полы кафтана Василия. А тот шел прямой, строгий, с побледневшим лицом, на котором еще резче выделялась черная шелковая повязка.

Вечером того же дня из ворот монастыря в разные стороны поскакали гонцы к верным Василию воеводам и детям боярским с известием о снятии с него крестного целования и с призывом встать под его знамена. А потом стали прибывать и они сами со своими людьми из Вологды, Ростова, Ярославля, Костромы, Устюжны. Прислали своих ратников игумены Воскресенского монастыря на Шексне, Спасокаменного и Прилуцкого. Обещали поддержку московские города Муром, Дмитров, Коломна, Боровск.

И вот настал день, когда все население Кириллова монастыря собралось у Святых ворот проводить великого князя с отрядом в путь на Тверь. Игумен Трифон долго смотрел на удалявшееся войско, пока не осела пыль на уломской дороге.

* * *

До конца своей жизни великий князь московский Василий II Темный останется верен слову, данному Трифону. Ни он, ни потомки его до самого последнего Рюриковича не обойдут вниманием далекую обитель на Сиверском озере. И никогда более не станет Москва причиной удельного раздора.

НОЧЬ ЦАРЯ ИВАНА

Сон был цветной и яркий, как многочудная роспись собора святого Успенья... Будто бы стоит он, Иван Васильевич, на высокой горе, откуда видно далеко во все стороны. Внизу под ногами множество больших и малых камней по пологому склону разбросанных, а сам склон переходит в широкую долину, покрытую зеленой травой, кустами и деревьями и которая там вдали сходится с небесной синью. Солнца нет, но все залито каким-то необыкновенным ровным светом. Будто бы его, свет этот, излучают и камни, и земля, и воздух, и небо.

Там, у самого небозёма, видны белые стены какого-то неведомого града. Точь-в-точь как на иконе «Благословенно воинство небесного царя», что висит в том же Успенском соборе рядом с его царским моленным местом. Вспомнил Иван Васильевич, что на иконе от белых стен и храмов небесного града летят к нему и воинству русскому ангелы с венцами славы в руках.

Едва успел об этом подумать, как увидел, что они и впрямь к нему летят! Только венцов-то в их руках не видно. Вот ангелы к нему подлетели и невдалеке закружились. Иван едва успевает голову поворачивать. А они о чем-то меж собой разговаривают, хоть и голосов не слышно, да на него руками показывают и видно, что не по-доброму.

Ангелы все ближе и ближе подлетают. Того и гляди крыльями заденут. Невольно вниз посмотрел и ужас сковал его: вместо пологого склона — темная пропасть. Никуда не скрыться и не убежать, а ноги будто приросли к земле на самом краю пропасти. Ангелы же так близко, что лица их даже разглядеть можно. Стал он вглядываться и будто холодом его обдало: лица-то ангелов все знакомые, лица людей давно убиенных.

Вон сверстники его Иван Дорогобужский да Федор Овчинин. Перед самым венчанием на царство один на кол посажен, а другой убит ручным усечением.

Вон князь Андрей Шуйский, псарям на расправу отданный, два князя Оболенских — Михаил Репнин да Юрий Кашин, а рядом дьяк Висковатый с отрезанными ушами и отсеченными руками, казначей Никита Фуников, кипятком обваренный, оружничий Афанасий Вяземский, ясельничий Петр Зайцев, боярин Алексей Басманов с сыном Федором, ближние люди Василий Умной, Борис Тулупов с матерью его княгиней Анной.

А вон славные царские воеводы Михаил Воротынский, Никита Одоевский, Михаил Морозов, князь Александр Горбатый с сыном Петром, да князь же Петр Серебряный.

Только этих распознал, а к ним новые подлетают. И он опять узнает брата своего из двоюродных Владимира Старицкого Андреевича с женой Евдокией и малой дочерью. С ними же мать князя Владимира тетка царская Ефросинья. Рядом с нею митрополит Филипп, братья Бутурлины Дмитрий, Василий, Григорий. Иван, а там Куракины, Колычевы, Грязные с родичами и единоплемениками.

А вот и те, коих своею рукою отдал: князь Иван Шаховской — палицей убил в полоцком походе, Молчан Митьков — на пиру-весельи копьём проткнул, печерский игумен Корнилий — на пороге обители мечом зарубил...

Но зачем они здесь? Что им от него надобно? Ничего не говорят, только вокруг летают. Неужели по душу его пожаловали? «...И ввергнут их ангелы в пещь огненную: там будет плач и скрежет зубов», — вспомнил Иван слова Священного Писания. «Их» — это людей, зло творящих. Не за ним ли прилетели?.. Какое множество лиц знакомых и незнаемых! Ему захотелось увидеть родные лица, да почему-то, как ни всматривается, не находит ни любимую жену Анастасию, ни детей своих Анну, Марию, Евдокию... Ивана. Нет их, нет! А эти, видно, не на доброе дело собрались...

Вот один от всех отделился и будто подплыл, перед самым лицом крыльями замахов. Глянул Иван Васильевич и обомлел: перед ним любимый старший сын его.

— Иван! Ваня! Сын мой! — крикнул Иван Васильевич.

Но тот будто совсем не слышал отцовского крика. Темные глаза его были полны печали и боли. Иван Васильевич протянул к сыну руки, но тот отпрянул и вдруг спросил:

— Это ты убил меня?!

Слова эти прозучали громом в тиши небесной, и Ивана Васильевича вновь объял ужас.

— Нет! — закричал он.— Я не убивал тебя, сын! Нет! Не убивал!
И тут ангелы к нему подлетели и стали наступать, окружая и говоря разногласно:

— Это ты убил! Ты убил! Ты убил!

Иван Васильевич поднял руки, будто защищаясь:

— Нет! — закричал он.— Не виноват я! Нет!

Захотелось бежать, но он и шага-то сделать не может. Только головой вертит, да по сторонам смотрит. Вниз глянул и опять под ним черная пропасть разверзлась, а тело его туда будто бы начинает падать:

— А-а! — закричал Иван и проснулся...

...Грозный резко приподнял голову с жаркого пуховика, открыл глаза и, тяжело дыша и стоная, сел в постели. Опять такой же сон, как и вчера. И опять так же страшно, и в груди какая-то тягучая тоска.

Рукавом ночной рубахи Грозный вытер потный лоб и бритую голову. Трясущимися руками он отогнул бархатную завесь постели, стоя на коленях, стал креститься в передний угол спальни комнаты, где висели поклонный крест с иконой, оберегающие его от ночных дьявольских сил. Иван Васильевич испуганно огляделся по сторонам, но в комнате было тихо и покойно, как всегда в этот час. Неярко горела ночная лампада перед иконой. Ни звука не доносилось из других покоев и переходов дворца, хотя он знал, что многие люди не спят, охраняя его царский сон: стряпчие на постельном крыльце, комнатные, столовые и иные сторожа на лестницах, в разных покоях и переходах. Сторожа были надежны и ему нечего было бояться.

Но вот сон, сон... Проклятое видение не дает покоя уже которую ночь. Не помогают никакие молитвы, которые он отдает здесь в кремлевских церквях и в поездках на богомолье. Как же быть и что делать? Много бы он отдал, чтобы избавиться от сна — видения с этим страшным вопросом наследника Ивана...

— А ты покайся.— услышал вдруг он внутри себя чей-то голос. Он был так явственен, что Грозный даже вздрогнул.

— Но в чем? — также мысленно ответил Иван Васильевич.— Не убивал я сына. Нет.

— Да, ты не убивал сына, но в смерти его виновен. Вспомни...

А чего и помнить? Сей день стоит перед глазами вот уже два года и постоянно терзает душу...

...В ту осень, по обычаю, царская семья жила в Александровской слободе. Иван Грозный, и так никогда не знавший душевного покоя, в те дни был потрясен новыми нестроениями в царстве.

В третьем своем походе на Русь многотысячное войско Стефана Батория в начале сентября осадило Псков. В это же самое время, будто

сговорившись, шведское войско приступом взяло Нарву. За ней пали крепости Ивангород, Ям и Копорье.

Грозному ясно было, что замыслили шведы: лишить Россию невских да балтийских берегов, такими трудами и кровью завоеванных. А еще понимал он, что долго не вынести войны на две стороны. С кем-то надо замириться. Но с кем?.. Как стоять против этих врагов, коли нестроения и на южных рубежах земли русской. Там часты набегы крымцев, угрозы турок и других врагов Руси. Есть отчего не спать по ночам царю Ивану, есть от чего томиться душе его...

...Как-то поутру в девятый день ноября Грозный зашел в покои сына Ивана. В жарко натопленной комнате на лавке сидела одна невестка царская Елена — третья жена наследника. Грозный разводил его уже дважды и первых жен царевича Евдокию Сабурову да Пелагею Петрову-Соловую заставил уйти в монастырь, а когда тот женился на Елене Шереметевой, то опять не угодил отцу, ибо Грозному был ненавистен сей род.

Из родных дядей Елены многие подверглись опалам и казням: Иван Васильевич Большой пострижен в Кириллове монастыре, Никита Васильевич удушен в темнице. Даже отец Елены Иван Васильевич Меньшой подозревался царем в измене: с крымским ханом переговаривался. А не такое уж давнее дело Федора Шереметева, который в плену у поляков дал клятву верности их королю! Да разве есть за что любить сей род крестопреступников?

Когда Иван Васильевич перешагнул порог, Елена испуганно вскочила и стала пятиться к другим дверям. Уж лучше бы сидела. Увидев, что сноха всего лишь в одной рубахе, Грозный рассвирепел. Он знал и видел, что Елена беременна, но, замахнувшись, ударил ее батогом, с которым из-за болезни в ногах и спине не расставался в последнее время. Елена закричала. На ее вопли прибежал сын Иван и другие люди. Стали невестку от него отнимать, но он успел еще пнуть ей в живот. Тогда сын схватил его за руки и что-то сказал с обидой. Такого никогда прежде не бывало, чтобы сын ему перечил, а тут, вроде, и руку на отца готов поднять! Тем же батогом Грозный начал бить и сына.

Прибежал на шум и крики ближний боярин Борис Годунов и попытался было заступиться за царевича, но в ярости царь не пожалел своего любимца, избил его до умопомрачения, а потом, не оглядываясь, вышел из комнаты: его ждали на совет приехавшие из Москвы бояре.

Только под вечер узнал о том, что было далее. У Елены случился выкидыш, а сын Иван слег в горячке. Проболел он недели с две и умер. Так лишился царь Иван и сына и внука. Выходит, что сам себе палачом стал. Да стоило ли и жить после сего?

— Но я покаяться тогда же в этом страшном грехе моем,— вспомнил Иван.— К Тронце ездил. На коленях перед старцами молился и каялся. Пять тысяч рублей сему монастырю дал на вечный помин сына... По всем иным монастырям людей своих государевых посылал с деньгами и наказами о молении по царевиче. Вклады посылал даже на святую гору Афон и в Иерусалим.

— Все так... Но разве только в этом вина твоя перед Богом и людьми? Зачем столько крови православных христиан пролил в царстве своем? Пошто многих бояр побил — мужей достойных и знатных?

— За измену, за непослушание мне — государю. От них, от бояр, пошло нестроение в царстве еще в детстве моем, когда я остался один без отца и матери. Тогда бояре многие бесчинства творили. Особенно Шуйские. Много я от них претерпел. Ведь это с той поры страх вошел в мою душу и ярость и злоба на бояр. Тогда же и первого из них князя Андрея Шуйского повелел псарям отдать на расправу.

— Неужто все бояре были враги твои?

— Все бояре хотели править царством, которое я получил от деда своего и отца по закону. Я же сам державою своею хотел управлять. Вот отчего их измены и неправды. Вот отчего мои опалы и казни. Оттого же и опричнину учредил.

— Да, твое адово войско много окаяинства свершило на Руси.

— Опричники избивали врагов моих.

— А сколь православных людей погубил ты с опричниками по клевете и доносам. Ты верил даже холопу, говорившему на своего князя иль боярина. Бывало ли такое?

— Грешен, Господи, было.

— Многих врагов своих побил ты и обо всех не скажешь, но зачем с ними ты предавал смерти и жен, и матерей, и детей их? Разве они перед тобой повинны?

— То бывало часто и без моего ведома.

— Разве ты не знал, что творил палач из палачей, изверг из извергов Гришка Скуратов Малюта и все другие твои кромешники. Знал... Эта кровь невинных не только на палачах, но и на тебе. И ответ за нее держать будешь на страшном суде. Покайся...

— Каюсь, Господи, давно каюсь. После смерти сына Ивана велел я имена всех убиенных в поминальники записать и по монастырям разослать с деньгами поминальными. Так и сделано...

...Из тех, что прошли через пыточный подвал великокняжеской темницы и где часто они с Малютой Скуратовым, правой рукой царской, вели кровавые допросы, Иван помнил немногих. Но разве забудешь, хоть

и десять лет минуло, тот разговор на пытке с боярином и воеводой Михайлом Морозовым, взятым в подвал за сговор с изменником и крестопреступником князем Курбским: таков был донос на воеводу, бывшем в год бегства Курбского наместником в Юрьеве. Да еще писал он будто бы грамоту крымскому хану.

В сей грех воеводы Морозова поверить трудно. Ведь знал его Иван Васильевич с юных лет своих: на свадьбе с Анастасией был Михаил дружкой со стороны невесты царской. А воевода — он из тех, каких мало. Во все боевые походы ходил с войском: в казанский, в ливонский, в шведский, на черемис и крымцев. Брал Пайду и освобождал Изборск от ливонцев. Всю жизнь свою положил на ратную службу, а вот пыточного двора не избежал...

Издерганный на дыбе, весь в рубцах и кровавых ранах, еле шевеля опухшими губами, он хрипло отвечал на очередной царский вопрос об изменных делах:

— Нет моей вины перед тобой, государь... Как нет ее у сына моего и у иных воевод. Оклеветаны мы... Невинные души губишь. С кем останешься, лучших воевод изведя... Но, погоди, Иван, как бы не был ты велик и грозен, придет и твой черед... Смерть одна — что у царя, что у псаря. Предстанешь и ты скоро перед судом Божиим... И все великое тебе покажется малым... Но ты будешь там уже не государь, не царь и не князь великий, а просто раб Божий Иван... Ивашка... И ответишь, как терзал ты с опричниками своими людей невинных, аки волки терзают овечье стадо. Но ведь сим окаянством ты и свою душу губишь! Тогда ты меня вспомнишь, Иван... Вспомнишь!..

Правда осталась за старым воеводой, казненным вместе с сыном. Таких воевод больше не было. Победы над ливонцами доставались большой кровью. Да и что в них, этих победах, коли война с Ливонией почти проиграна. И не виновен был Морозов в изменных делах, а оклеветан. Да, вспоминает его Иван уже не первый раз. А в прошлом году послал сто рублей к Троице на помин души его.

— А Новгород зачем воровски погромил, пожег и пограбил? Не бывало ведь такого злодейства от века.

— Еще дед мой великий князь Иван опалу на Новгород положил и не один поход против него вершил. Через сей город из стран западных пришла на Русь ересь жидовствующая и зашатались умы русские. У многих и по сей день только личины христианские, а втайне они жидовствуют.

— Ты и брата своего Владимира не пожалел. Заставил кубок вина с ядом выпить. Жену его и дочь осьми лет отравил.

— Еретики при дворе брата моего в Старице свое гнездо зменное свили. А в Новгороде его любили. Велик мятеж мог быть и дело изменное с Ливонией. Вот я и казнил их за все преступные дела, за измены... Они меня хотели отравить.

— Тебя отравить? Оставь эти басни для глупых людей... Дед твой Иван Васильевич с женками и ребятами малыми не воевал, а сатанинское твое опричное воинство сколько этих душ невинных загубили — не счесть. Ладно бы изменников казнили, но ведь и родичей их в Волхов под лед, даже деток метали.

— Каюсь в сих богомерзких делах опричников моих. Тот грех на душе моей... Но неужели я ничего не сотворил доброго для земли русской и народа моего? Разве я не положил жизнь свою ради единения Руси? Разве мало я возвёл городов? Разве мало собрал земель в царство русское, продолжа святое дело прародителей наших? Казань, Астрахань и Сибирь к земле русской прибавил, а в войске моем теперь татары служат.

— Добрые дела твои давно сочтены и не о них ныне речь. На страшном суде за злые дела ответ держать придется.

— Что за злые дела еще я содеял?

— За какие вины ты игумена печерского Корнилия самолично убил, он ведь тебя со всею братией и с иконами к Святым воротам обители встречать вышел?

— За измену же. Собака Курбский до своего бегства часто у него бывал, а потом грамоты к игумену писал и денег просил. Одной они мыслью жили — монастырь сей Печерский врагам нашим отдать.

— То клевета на игумена, сорок лет обителью управляющего. А что беседы вел, так то истинное дело наставника и пастыря. Так что не было изменного дела.

— Не было... Грешен. И по нем, по игумене, дано мною вечное поминание...

— Пошто ты на иудейских купцов из Бреста гонение учинил? Ведь прежде они свободно торговали по городам русским.

— Много лихих дел сотворили те купцы. Хитры они и коварны. Людей наших от христианства отводили, отравное зелье к нам привозили и пакости многим нашим людям делали. Купцам русским многие порухи чинили. Нет от них ничего другого, кроме обмана. Потому товары их на Москве пожгли, а самих из Москвы изгнали за рубеж земли нашей отныне и до века.

— Добро бы так. Но ведь Полоцк взяв, ты всех иудеев в реке зимой утопил.

— Не всех, а тех только, кто измены творил. Ведь как бывало: придут ливонцы и жидовины их хлебом-солью встречают, придут русские — они

тоже хлеб-соль подносят. И тем и другим говорят: о, какая сегодня радость — наши пришли!.. А еще тех, кто православную веру не приняли.

— А вот и игумен Корнилий, от тебя смерть принявший, иноверцев разных в нашу веру вводил словами, а не мечом, ибо сказано в Священном Писании: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему. И сотворил Бог человека по образу своему». И нет разницы, кто перед ним: единоверцы или иноплеменники. Все равны перед Богом. А ты опять невинные души загубил.

— Ведомо и мне, что Бог не только нам, христианам, помогает, но и иноверцам пособствует, когда они правы. О невинных же душах молюсь, каюсь в этом окаянстве своем.

— Опричники твои тысячи дев растлили. Да и ты не отставал.

— Все мы люди и я человек... Но тут много неправды. Вот гнусные люди говорят, что я детей своих, рожденных в прелюбодеянии, сам руками душил. Так все это басни пьяных баб, собаки Курбского и других изменников.

— Но прелюбодействовал ты zelo много. Сказано ведь: кто разведется с женою не за прелюбодеяние и женится, тот прелюбодействует. Ты же семь раз женился, да еще мыслил недавно англицкой королевы племянницу при живой жене взять. И недавно же невестку свою, жену сына Федора Ирину Годунову восхотел поять. А ведь болел.

— Полегло мне...

— Людей же, которые на крики Ирины сбежались, ты казнить велел без вины их.

— То правда. На мне сей грех.

— И что ты за человек такой! Сегодня прелюбодействуешь, а завтра каешься, сегодня окаянствуешь, а завтра опять каешься, оскверняешь душу богопротивными делами и просишь милости. Но все слова твои не раскаяние, а обман. Разве ты вечно жить собрался?

— Нет, бессмертным я себя не считаю, ибо смерть — удел всех живущих, а я по естеству так же немощен, как и все люди.

— А разве ты хочешь умереть без покаяния?

— Нет! — испугался Грозный.— Так не хочу! Я давно решил постричься и принять иноческий образ. Кириллова монастыря чернецом умереть хочу... Ионой...

— Ведомо ли кому об этом?

— Нет! Никому не ведомо, кроме старцев кирилловских.

— Враги твои рады будут без меры, что ты умрешь без покаяния. А по болезни твоей смотря ты и вправду можешь не успеть покаяться.

— Утром же духовнику моему отцу Феодосию скажу о том, в крестовой комнате... Я успеть должен... А кирилловским старцам я прямо сей-

час грамоту напишу. Отпущения грехов моих попрошу,— неожиданно решил Грозный.— Успею... успею...

Он медленно слез с постели, взял с поставца подсвечник и зажег свечу от лампы. Опираясь на батог, также медленно побрел в свою государеву комнату. Болезнь согнула его некогда статную и широкую в плечах фигуру. Он растолстел и казался ниже ростом, а живот был заметен даже в этой свободной полотняной рубаше. Ноги в меховых чулках до колен старчески шаркали по дубовым половицам.

— Увы, мне грешному! Горе мне окаянному! Ох, мне скверному! — шептал Иван Васильевич, тяжело переступая через порог.

Он прошаркал в передний угол, где стоял его личный стол, и зажег еще одну свечу. Стало светлее. Грозный опустился в широкое резное кресло у стола, откинулся на его высокую, мягкую спинку и перевел дух. Кажется, что все болезни вошли в эти дни в его некогда сильное тело. Правда, бывает, что и они отпускают, но редко и ненадолго... Неужели и верно скоро надо будет уходить из мира сего?..

Иван Васильевич окинул взглядом свою комнату. Все так знакомо, так привычно. И не верилось, что когда-нибудь и эти стены с поставцами вдоль них, и эти холодно поблескивающие сейчас слюдяные оконца и кресло, в котором сидит, будут скоро жить без него. Или их тоже не будет? А стол? Этот свидетель бессонных ночей и многотрудных дней Ивана, его мыслей и разговоров, сомнений и твердых решений.

Грозный слабой рукой гладил красное сукно стола и останавливался взглядом на всем, что было здесь долгие годы частью его бытия... Вот книги из постельной казны, жития святых, поучения, к которым он обращался по вся дни. Читал сам или его книжничий Софроний Постник. На том краю книги еретические, кои отцы святые читать не велят. Но он читает: чтобы бороться с еретиками и иными врагами своими и царства русского, надо знать, чем они живут и как мыслят. Ибо сказано: читающий да разумеет. Вот почему на столе его «Тайная тайных, или Аристотелевы врата», «Лепидарий» Епифания Кипрского, толкующий чудесную силу камней драгоценных, гадательская «Рафли», иудейский «Шестокрыл».

А вот серебряная чернильница с песочницей и перница с водой, где мокнут любимые его лебяжьи перья, стопа бумаги, свитки, часы медные с позолотой и давний подарок шведских послов — золоченый кубок с часами же на крышке. Часы, часы... Они отмеривают неподвластное человеку время и только одному Богу ведомо, кому сколько быть осталось в жизни земной. Не ведомо и ему, Грозному Ивану. Может год, может два, а может и всего-то два часа, те, что остались до утреннего света.

Разве к добру висела недавно над Москвой звезда хвостатая в небе

между Иваном Великим и Красным крыльцом, где он стоял и во все глаза глядел на чудо небесное? Разве это не похоже на меч Господен, карающий грешников? А он ли не великий грешник... Стало быть, это его знамение. Иначе тут и не помыслишь.

Успеть бы только покаяться в грехах своих и там, в царствии небесном, Бог простит за это своего блудного сына. А начинать надобно с покаянной грамоты кирилловским старцам... Иван Васильевич взял из стопы бумажный лист, вытер тряпицей перо, омакнул его в чернильнице и склонился над столом.

...«От великого князя Ивана Васильевича, всяя Руси... обители преподобного чудотворца Кирилла, богомольцу нашему игумену Варлааму с братьею»... Грозный остановился и перечитал зачин. Нет, не то... Какое же это смирение?... Иван Васильевич зачеркнул было написанное, но тут же сомкнул и бросил на пол бумажный лист. Взял из стопы другой...

«В великую и пречистую обитель владычицы нашей Богородицы и присно девы Марии,— выводил Грозный неровные строки,— и великого и преподобного чудотворца Кирилла, святым и преподобным инокам, тоя обители священникам и дяконам, и старцам соборным, и служебникам, и крылошанам, и лежащим по кельям, и всему еже о Христе братству преподобию... ног ваших касаясь князь великий Иван Васильевич челом бьет»...

Грозный вновь перечитал написанное и остался доволен... Многие в его жизни связано с дальней обителью за Вологдой. Своим считали Кириллов монастырь и прародители его великие князья московские, а для Ивана Васильевича он был и вовсе родным: это ведь после поездки на богомолье в Кириллову обитель у бездетного великого князя Василия и жены его Елены родился он — Иван.

Грозный бывал в монастыре не однажды. Первый раз еще в юные годы приехал. Та поездка и сейчас в памяти. Ночи тогда белые были и юный государь со своими людьми опоздали к ужину. Изрядно проголодавшись, разбудили помощника келаря и попросили стерлядей, но тот дать отказался, говоря, что не было ему на то приказа, а ночью где взять. Когда же ему стали втолковывать, что перед ним государь, то сей смелый человек отвечал: «Государя боюсь, а Бога надобно больше бояться».

Юную душу Ивана поразили тогда строгие порядки монастыря. Вот у кого надо учиться делом править. Вот откуда надо пример брать, коли хочешь порядка в государстве своем! Тот урок помнит всю жизнь... В другой раз Иван Васильевич приехал в обитель на богомолье, отойдя от тяжкой болезни своей, которая охватила его по весне после взятия Казани. Тогда же случился и мятеж боярский у царевой постели: отказались многие присягать на верность младенцу царевичу —

В тот год жив был в Кириллове монастыре старец Вассиан, у коего еще отец советы брал. Спросил совета у старца и Иван Васильевич о том, как править при боярских изменах. Тогда Вассиан и посоветовал ему урезонить бояр и еретиков и тем укрепить власть царскую, самому держать её. И сей урок всегда помнил Иван.

В третий раз Грозный приехал на богомолье в Кириллову обитель из Вологды, где строил опричную столицу с кремлем и соборами, как и на Москве. Тогда в келье монашеской перед братией и игуменом на коленях каляся в грехах своих и сказал им о желании своем постричься в будущем в этой пречистой обители.

И вот пришло сие время, приспело. Что же писать далее? Вспомнились слова, писанные в первом послании кирилловской братии, когда он признавался им, что живет по вся дни «в пьянстве, в блуде, в прелюбодействе, в скверне, в убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе»...

Почти десять лет минуло с того дня, а он живет все в тех же грехах смертных... Иван Васильевич вновь склонился над листом бумаги: «...челом бьет и молится припадая преподобию вашему, чтобы пожаловали от моего окаянства соборно и по келиям молить Господа Бога и Пречистую Богородицу и великого чудотворца Кирилла, чтобы... великий чудотворец ваших ради святых молитв моему окаянству отпущение грехов даровал и от настоящей смертной болезни освободил и здравие дал... А мы в чем перед вами виноваты и вы бы нас пожаловали, простили».

Грозный писал грамоту неровно и нервно: то останавливаясь и подолгу думая, то быстро воля пером по бумаге, поправляя и зачеркивая слова. Он попросил еще кирилловского игумена прислать на Москву священника со святой водой, да отписал, сколь денег посылает с сей грамотой игумену Варлааму же с братьей и нищим. «А сю грамоту печатал своим перстнем», — начертал Иван Васильевич последние слова послания.

Промакнув написанное песком и сдунув его, он достал из ящика стола кусок печатного воска, а из резного ларца, куда клал на ночь разную ларечную кузнь, большой перстень с указательного пальца, куда вделана была его личная царская печать.

Растопив воск на пламени свечи, Иван Васильевич накапал его на лист в конце грамоты и вдавил в горячий воск перстневую печатку, дабы не было ни у кого сомнения, что писано послание им самим, царем Иваном Грозным. Потому и переписывать набело не стал, а просто свернул грамоту и перевязал шелковою тесьмою. Да и некогда переписывать. Скорее бы отправить. Кому только вот поручить дело сие? Надежных людей осталось мало. Из тех же, что есть, лучше всех исполнит, пожа-

луй, немногословный государев дьяк Савва Фролов — самый верный слуга его. У него и люди есть...

Иван Васильевич поднялся с кресла и подошел к слюдяному оконцу, за которым уже заметно было начало света. Не раз и прежде встречал он в своей комнате рассвет нового дня. Но редко бывало, когда бы он так много думал о прожитой жизни.

«Я жил по своей правде,— говорил сам себе Иван.— Это так. А у другого, выходит, тоже есть своя правда, а у третьего... Зачем я заставлял жить по моей правде? Стало быть я жил несправедливо? Зачем рядом с добрыми делами я совершил столько злых? Я же знал и верил, что те, кто живет во зле и преступают заповеди Божьи, чашу ярости Господней испивают и многообразными муками мучаются. А на том свете после праведного суда приемлют бесконечные мучения. Я знаю, и верю, что и мне предстоит на том суде дать ответ не только за свои согрешения вольные и невольные, но и за грехи моих подданных, содеянные из-за моего недосмотра, помрачения ума от ярости, страха и ненавидения»...

Из оконца видно было, что со стрех теремов и церковей свисали ледяные сосульки: на Москву пришел март-капельник. Вот и еще одна весна... Она приходит никого не спрашивая. Из века в век, из года в год. Так есть, так и будет. И ныне, и присно, и во веки веков.

Сей круг жизни для всех одинаков. Все равны перед естеством мира сего. Ибо нет ему никакого дела до того, селянин ты иль слобожанин, боярин или великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский и царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Нижнего Новгорода, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский и отчинный государь и обладатель земли Лифляндской Немецкого чина, Удорский, Обдорский, Кондинский и всей Сибирской земли и Северной страны повелитель.

РУССКИЙ СОКОЛ

Валентину Распутину

I

В последний день августа тысяча пятьсот семьдесят девятого года город Полоцк, осажденный войсками короля Речи Посполитой Стефана Батория, пал и горел. Каждую ночь полоцкий пожар желтым свечением

озарял небо над городом, и зарево этого пожара было заметно на много верст в округе. Горели и соседние городки-крепости на самой окраине русской земли у литовского рубежа: Козьян, Ситно, Красное, Нешерда, Туровля. Не сдался пока один Сокол — маленькая крепостца близ устья речки Нищи, у самой Псковской дороги в тридцати верстах от Полоцка.

Государь, царь и великий князь Иван Васильевич еще в начале августа, находясь в это самое время во Пскове, узнал, что Баторий вторгся в русские пределы и идет на Полоцк, ведя с собой польские и литовские полки да отряды венгерских и немецких наемников. В тот же день, не мешкая, послал он на помощь полоцким воеводам свое войско пеших и конных стрельцов под началом легких воевод Федора Шереметева, Бориса Шеина да князя Андрея Палецкого. Ушли с ними в поход пушкари князя Василия Кривоборского и донские казаки Ивана Мясоедова да Михайлы Лыка.

Только не смогли они государев приказ исполнить. Опредил их Баторий, перекрыл все дороги, и к Полоцку они не пробились. Вот и пришлось воеводам стать в Соколе.

Почти четыре недели держался Полоцк, и каждый день отряды русских стрельцов и казаков делали набеги из крепости на мимоидущие дороги, захватывая вражеские обозы с фуражом и съестными припасами, назначенные для осаждавших Полоцк войск. Потому-то и был для Батория и его людей городок Сокол как соринка в глазу...

Долго поляков ждать не пришлось. Еще держался Полоцк, еще палили литовские пушкари по стенам и башням города, а Баторий, сняв с осады большой конный отряд Христофора Радзивилла, послал его под Сокол с приказом наказать русских за их дерзость.

Но взять крепость силенок у отряда оказалось маловато. В открытое же поле русские стрельцы и не думали выходить. Окопавшись под стенами крепости, они делали только частые вылазки. Так ни с чем и возвратился Радзивилл обратно к Полоцку, оставив в лесу под городком для сторожи сотни четыре или пять конницы.

И решил тогда Баторий осадить Сокол после взятия Полоцка...

В самом же городке, не услышав в один из дней пушечной пальбы со стороны соседних крепостей и заметив, как один за другим гаснут окрест пожары, поняли, что вот-вот наступит и их черед сидеть и драться в осаде...

...Скорая дума собралась в избе сокольского городского наместника Ивана Кокошкина. Воеводы входили в столовую горницу, снимая шапки и крестясь на образа в красном углу, где под ними сидел окольный Федор Васильевич Шереметев. А когда все собрались и расселись по лавкам, он пригладил бороду и первым зачал разговор.

— Собрал я вас, воеводы, думу думать и порешить, как нам быть далее... Полоцка нет боле. Взял его Баторий. Оттуда человек прискакал от городничего Замятни Опалева. Да гонцы были из Туровли от Постника Рябниина, из Красного от Вельяминова, из Нешерды городской приказчик Иван Толбугин сам прискакал. Все крепости пали. Остались одни мы. Вот и надо думать.

— А чего думать, воевода? — подал голос князь Андрей Палецкий, сидящий по левую руку Шереметева. На войне они рядом уже не первый год.

— Ждать ли здесь баториева войска или выходить на псковскую дорогу к государю.

— Зачем уходить? — не согласился Палецкий.— Сидеть здесь надобно. Нас вон сколь. Ужели поляков убоимся? Ведь не год назад у Вендена*.

Горяч князь Андрей. Горяч и нетерпелив. Да ведь все от чистого сердца. И в бою это ему помогает. В каких только князь делах не был, а выходил целым и людей из беды выручал.

Вот и год тому Шереметев был вместе с князем Андреем в рядах стрельцов, осаждающих Венден. Тогда после третьего и опять неудачного штурма осаду сняли и стали отходить к своему лагерю. И в это самое время, уже под вечер, поляки со шведами врасплох напали на русские отряды. Татарская конница, бывшая в русском войске, на что драться горазда, да и та не выдержала и ускакала. А все, кто остался, отступили в свой стан и до ночи из-за телег стрельбой оборонялись. Враги тогда в темное время на штурм не решились. Ждали утра.

Князь же Андрей ждать не стал и увлек всех в ночную атаку. Помнится, что были тогда с ним князь Иван Голицын и дьяк Андрей Щелкалов. Ушли все в ту темную памятную ночь. Все, кроме пушкарей. Никак не захотели они свой наряд** оставить. Но и врагу в плен не сдались. Вместе с воеводой своим Василием Воронцовым сами себя жизни лишили.

Жалко и обидно. Но это уже другой сказ, и не князь Андрей тому виной, что тогда пушкарей оставили. А воин он, однако, хорош. Ничего не скажешь. Горяч только. Горяч и дерзок. Вот и сейчас... Разве в боязни дело.

— Мы не страха ради здесь собрались, князь Андрей,— строго сказал Шереметев,— а здраво размыслить о судьбе города и людей наших. Диво ли выйти в чисто поле да бой принять с ворогом. Но то диво, коли полки сохраним, и наряд, и припасы. Да как сделать сие? Что мыслишь ты,

* Венден (Цесис) город в Ливонии.

** Наряд артиллерия.

Борис Васильевич? — Шереметев повернулся к окольному Шейну — правой руке своей и первосоветнику.

Напротив князя Андрея, Борис Васильевич отличался спокойствием, известен был в государевом войске многомудрием ратным и водил полки умело.

— Я мыслю так, Федор Васильевич,— неторопно начал Шейн.— Как ни крути, а Сокол нам одним не удержать. Хоть и войска у нас много, и припасов в меру, и стены крепки. Баторий Полоцк пожег, все крепости в округе взял и теперь к нам явится. И если уж Полоцк пал...

— Всем войском не явится,— перебил Шереметев.

— Знамо, все не придут. Пока. А сколь придет их — неведомо. Вот я и мыслю: ежели мы одни против них будем, то надо уходить во Псков немедля. Ежели ждать государевой помощи, то надо оставаться тут и до подхода наших полков держать осаду. Время у нас есть. Пока поляки сюда придут — неделя пройдет. Да пока переправы наводят, да к осаде готовятся... Но ведь и мы томиться без дела не будем. Так что выдюжим до государева войска. Я мыслю так.

— Гонцы государю посланы? — спросил Шереметев Ивана Кокошкина.

— Еще над утром затемно ускакали.

Поднялся Иван Мясоедов.

— Мои казаки, Федор Васильевич, из дальней сторожи языка привели. Скакал из Полоцка с вестью к полякам, что в лесу за рекой стоят. Велено ему передать своим, что из Полоцка выступили на Сокол отряды гетмана Мелецкого и немецкие ландскнехты Вейера.

— Большим ли числом?

— Тыши с три будет, а точно ему неведомо.

— И нас тут не менее,— прикинул Шереметев.— Дивно — на что они надеются?

— Еще более дивно, Федор Васильевич, что идут они без обоза.

— Без обоза? Стало быть, хотят у нас пожить. А это значит, что штурмовать с ходу будут. Не так ли, Борис Васильевич?

Шейн согласно закивал головой.

— Иначе и быть не должно. Терять им нечего. А пушки везут? — спросил Шейн Мясоедова.

— Дороги ныне после дождей развезло, и пушки отправлены сюда по реке на стругах.

— Спешат ляхи.

— Жрать охота — вот и спешат,— сказал князь Андрей.— А голодные и злые драться будут крепко.

— А мы будем готовы к сему,— сказал Шереметев и расстелил на столе толстый бумажный лист, расчерченный в середине.— Вот чертеж города. Наметим, воеводы, где кому стоять в осаде и что делать надобно будет во время приступов.

Воеводы подошли к столу.

— Из твоих пушек, князь Василий,— сказал Шереметев начальнику огнестрельного наряда князю Кривоборскому,— добавь несколько в шанцы* со стороны пригородья. Вот сюда,— показал Шереметев место на чертеже.— Тут надо ждать главного приступа.

— Слушаю, воевода.

— А твоим людям, голова,— обратился Шереметев к своему тезке и начальнику сокольских стрельцов Федору Симскому,— всем, как и ранее, быть на стенах и в башнях. Уразумел?

— Уразумел, воевода.

— А по стенам меж башен караульщикам ходить днем и ночью. С вечера же до утреннего света караулы ставить вдвоє. При встречах им славить не города, а полки государева войска. Да кричали бы громко.

— Слушаю, воевода.

— А ты, князь Андрей, своих стрельцов пеших с пищальями поставь в шанцы под стены, особо у ворот. Затинщиков** на стены. Пусть натаскают туда камней, бревен и прочего, что потяжелее. Конные же твои стрельцы пусть готовы будут к вылазкам через ворота. Так же и ваши казаки,— повернулся Шереметев к Ивану Мясоедову и Михайле Лыку.— Да на вас же караулы ближние и дальние вокруг города и на дороги, как и прежде.

Воеводы в знак согласия наклонили головы. Федор Васильевич оглядел своих соратников и спросил:

— Обо всем ли сказали, воеводы?

— Пока время есть,— подал голос Иван Кokoшкин,— то из города на Псковскую дорогу отправить бы жёнок с ребятишками, стариков, всех раненых и недужных.

— Дело говоришь. Снаряжай обоз, а для обороны его тебе князь Андрей стрельцов даст. Да пусть по домам и церквам образа соберут и с собой везут, а что не уберется — надо в землю закопать. Таков царев указ... На том и порешили,— заключил Шереметев.— Мы же с воеводой Борисом Васильевичем на стенах будем, ежели на приступ пойдут, а в

* Шанцы окопы.

** Затинщик стрелец с тяжелой (затинной) пищалью, стреляющий из-за укрытия тына.

остальные дни — здесь. Гонцов, посыльных и языков сюда слать... Да поможет нам Господь и государь. Помолимся, воеводы.

Федор Васильевич Шереметев вышел из-за стола и встал впереди воевод перед образами.

II

Городовые стены Сокола, возведенные плотниками-городниками по велению царя и великого князя Ивана Васильевича Грозного немногим более десяти лет тому назад, были крепки и надежны. Поставленные в два ряда из толстых сосновых бревен их срубы-городни, заполненные камнем и землей, и все одиннадцать башен-стрельниц лишь потемнели от времени, дождей и ветров. Потому-то и не боялись врага все, кто был за стенами крепости. Да к тому же стоял Сокол на высоком мысу при слиянии Ниши и Дризы и омывался их водами. С напольной же стороны крепостца защищена была широко и глубокоим водяным рвом.

Почти целую неделю после полоцкого пожара лил мелкий дождь, но потом с южным ветром небо прояснилось, погода уставилась, и однажды солнечным утром с городских стен Сокола увидели русские ратники многолюдные отряды неприятеля: на берегу с полоцкой стороны забелели палатки лагеря баториева войска. А еще заметили защитники города, что у поляков и вправду не было повозок, которыми по обычаю огораживался лагерь.

В тот же день казаки-дозорщики поставили перед Шереметевым еще одного языка, и тот в расспросе сказывал, что шли к Соколу долго из-за плохих дорог и дождей. В тяжелой глинистой земле вязли даже верховые лошади. Тут уж было не до повозок. Да к тому же ни овса, ни сена для лошадей у поляков не было. Кормили коней только тем, что было у них под ногами, и они дохли от голода в большом числе.

А еще поведал пленный, что гетман Мелецкий привел с собой только поляков и немецких наемников. Венгерских гайдуков сюда взять отказался: поссорились те с немцами до крови при дележе полоцкой добычи. Отобрали же в поход в большинстве тех, кто был при взятии Полоцка и других городов замечен в трусости и нерадении. Стало быть, драться они будут дерзко, ибо только так можно очиститься им от тяжкого обвинения. А отнимание богатой добычи удваивало силы. Ведь за стенами Сокола съестных припасов едва ли не на год, много сена и зерна для лошадей.

Готовиться к осаде поляки стали не мешкая. Конница князя Збарского вплавь переправилась через реку и заняла псковскую дорогу, чтобы не пустить к Соколу возможную подмогу. Пешие отряды переправились на

плотах и по наплавным мостам из связанных бревен, заняв позиции против стен крепости: польская пехота воеводы Уровецкого по берегу Дризы, а немецкие ландскнехты Вейера с напольной стороны и вдоль берега Нищи. К полудню Сокол был окружен. Осталось только откопать шанцы, к чему приступили тотчас же. После полудня по реке на стругах прибыли осадные пушки воеводы Доброславского. Их нацелили против ворот с трех сторон крепости, украв за турами*...

Тишина пришла с темнотой в Сокол. Крепость приготовилась к осаде. Стрельцы на ночь остались в шанцах под стенами. По верху же стен меж башен ходили караульщики, громко выкрикивая при встрече названия государевых полков: Ростовского, Вологодского, Тихвинского, Старицкого, Переяславского. И больше ни единым звуком не нарушалась тишина этой ночи. Затаился, затих Сокол...

...С началом света в лагере польского войска трубачи протрубили зорю. Эти звуки, пролетев над палатками и тлеющими кострами, всколыхнули людей, освободив их от остатков и без того короткого и тревожного сна. Как бы в ответ со стороны крепости забил колокол.

Первыми вступили в дело осадные пушки. С трех сторон они повели огонь по стенам города, но это поначалу мало что дало. Ядра пробивали бревна стен, но сильно их не разрушали, а попав в самый низ крепостной стены, обложенный толстым слоем земли и дерна, и вовсе пропали без звука. Да к тому же две пушки, стрелявшие с напольной стороны, разорвало: видно, то ли со сна, то ли сослепу заложили в них лишние меры пороха.

Русские пушкари отвечали редко. И с городской стены, и из шанцев под стеной было еще плохо видно поляков. Землю затянуло речным туманом, и прицельную стрельбу вести было нельзя. Буханья пушек не стало слышно вскоре с обеих сторон. Но виленский воевода гетман Мелецкий был недоволен. Перед походом сюда он поклялся королю, что возьмет крепость с первого же штурма, хотя и знал высокое мнение Батория о московитах как храбрых защитниках своих крепостей, превосходящих в этом деле другие народы. Тем почетнее будет победа, тем больше будет слава и награда короля! Потому Мелецкий приказал воеводе Доброславскому бить по воротным башням, и тот поскакал к пушкам, что стояли за турами на берегу Нищи позади окопов немецких ландскнехтов. Он повелел доставить ему походный кузнечный горн, а когда это было сделано, то сам заложил в горящие угли первые три ядра.

* Туры — плетеные высокие корзины с землей, защита пушкарей.

Доброславский задумал применить сейчас недавнюю выдумку людей венгерского воеводы Бекеша: стрелять калеными ядрами по деревянным стенам и башням.

В пушку заложили пороховой заряд, затем засыпали туда сухой золы и набили свежей травы. Раскаленное добела ядро закатили в дуло, и тут же ухнул первый выстрел. Пристрелянная пушка пробила точно. Ядро ударилось где-то между бревнами вверху стены, и сухая смоленая сосна сперва задымилась, а потом и загорелась. Но огонь стрельцы потушили быстро. То же случилось и со вторым ядром из другой пушки, ударившим в стену намного ниже первого. Только на этот раз смельчаки из стрельцов тушили огонь, подвесившись на веревках. И лишь третье каленое ядро сделало свое дело. Оно ударило в подошву стены у самой воротной башни, да так, что его сразу и не заметили защитники крепости. А когда увидели, то было уже поздно: огонь полыхал вовсю. Попробовали было потушить огонь стрельцы, сидевшие под стеной в шанцах, да их отогнали мушкетным огнем немецкие латники.

Видя, что загорелись уже и ворота башни, гетман Мелецкий приказал трубить на штурм и бить в барабаны. По этому знаку пехотные воины баториева войска выскочили из окопов и, выставив перед собой деревянные щиты, пошли к стенам крепости. Русские в ответ начали стрелять по врагам из пищалей и пушек, луков со стен и из своих шанцев.

И тут неожиданно загоревшиеся со стороны Ниши ворота распахнулись. Из них с громкими криками навстречу идущим на штурм немецким наемникам выбежали русские городовые стрельцы и казаки. С пиками и саблями они врезались в строй врагов и, сломав его, завязали схватку. Это было неожиданностью. То ли осажденные решили потушить пожар под прикрытием отряда стрельцов и казаков, то ли это была давно задуманная вылазка.

Кованая немецкая рать в панцирях и шлемах была намного больше отряда выскочивших из крепости защитников, и после короткого замешательства немцы стали теснить русских к воротам. Засевшие в окопах под стеной стрельцы тоже неожиданно присоединились к своим и побежали в крепость. Преследуя их, сотни три немцев ворвались через ворота в город. Видя это, туда устремились многие из нападавших, но тут вдруг русские стрельцы на башне опустили вниз воротную решетку, и все, кто ворвался в крепость, оказались в западне. Схватка за воротами разгорелась с новой силой. Только теперь уже русских было намного больше, и враги один за другим падали на землю. Их вопли заставляли оставшихся за воротами пытаться ломать решетку, но со стен в них летел град камней, стрел и пищальных пуль, лилась горячая смола. А особенный

урон наносили нападавшим сбрасываемые со стены бревна. И немцы, отступив от стены, залегли, прикрывшись щитами. Но ненадолго.

Гетман Мелецкий перебросил с напольной стороны подкрепление из пехоты и конницы к горящим воротам и вновь приказал трубачам играть на штурм, а барабанщикам бить в барабаны. Ливонцы поднялись в новую атаку. Даже польские конники, всегда с презрением относившиеся к пешим собратьям, оставив своих коней, бросились вместе со всеми на штурм.

На этот раз натиск был особенно сильным. Поляки и немцы бревнами протаранили решетку и, взломав ее, как вода через прорванную плотину, ворвались в крепость. За ними устремились остальные, и скоро весь городок был во власти врагов, устроивших там страшную резню. Телами осажденных была устлана земля у стен, башен и домов, на узких улочках и на площади.

III

Городовой стрелец Иван Соколов лежал на мосту верхнего боя средней башни и в узкую прорезь бойницы смотрел на происходящее внизу побоище, то и дело сжимая кулаки и постанывая от бессилия, обиды и боли. Он понимал, что это не сон, что случилась беда непоправимая и страшная, но никак не мог понять, отчего произошло все так быстро. Ведь еще совсем недавно с товарищами своими стоял он за щитами-заборками на стене и стрелял по врагам из своей ручницы. Иван вместе со всеми отбивал первый приступ, и его ранило в ногу выше колена мушкетной пулей. Вначале он и боли-то не почувствовал, но, когда первый штурм отбили, нога вдруг разболелась, и он не мог даже стоять. Товарищи перевязали рану чистой холстиной и перенесли его в башню. Здесь и стал Иван Соколов самовидцем второго приступа, когда ливонцы ворвались в крепость через протараненную воротную решетку. Товарищи его сбежали со стены и вступили в схватку. Тут и началось такое, чего Иван Соколов в жизни своей не видывал. Немцы и поляки, видно, мстя за убитых в первом приступе своих воинов, рубили и кололи всех без пощады. Среди стрельцов, которыми, казалось, никто не командовал, началась паника. Многие бросали наземь сабли, пики, бердыши, самопалы и сдавались в плен, но разъяренные враги не щадили даже их. Не желая сей участи, некоторые стрельцы бросались в огонь полыхавшей городской стены. А вон у церкви Николая Чудотворца, отбиваясь палашом от окружавших его врагов, пал, проткнутый пикой, воевода Борис Васильевич Шеин. Пали зарубленные князь Андрей Палецкий, воеводы Михайло Лык и Василий Кривоборский.

Наконец, утолив жажду мести, а может, просто устав от этой страшной бойни, немцы и поляки перестали убивать не сопротивляющихся уже защитников крепости. Оставшихся в живых они ставили перед домом городского наместника. Стрельцов и казаков выводили из домов, амбаров, городен, церквей. Были тут большой воевода Шереметев, его тезка стрелецкий голова Сокола Федор Симской и донских казаков воевода Мясоедов...

Иван оторвался от смотровой щели и лег навзничь. Он был ошеломлен, часто крестился, губы его дрожали. Много видел стрелец за войну эту, но столько лежащих на земле тел не видал никогда. Даже пруд, недалеко от противной стены, и тот был заполнен телами павших. В которой раз спрашивал себя Иван: отчего так? Почему так быстро сдали крепость? Слов нет, враги зажгли стену новой хитростью — раскаленными ядрами. Но ведь воеводы-то были в крепости! И должны были все видеть и направлять. А может, и хотели, да не получилось. Оттого и смятение вышло, и страх, и гибель. Не верилось во все это, но ведь вот оно — перед глазами. Что-то упустили воеводы. Да, видно, правду говорят: горе тому дому, которым жена правит, горе городу, которым многие правят. Не слишком ли было в Соколе ныне воевод?

Иван опять прильнул к щели. Через все городские ворота в крепость входили и въезжали новые толпы поляков и немцев. Свой пир победители начали с грабежа. Особо зверствовали немецкие волонтеры. Пленных раздевали до исподних рубах, стаскивали кафтаны, шапки, зипуны, снимали с пальцев кольца, отбирали деньги до последней полушки и выводили всех пленников короля Речи Посполитой за ворота крепости ожидать своей участи. Тела павших и те подвергались разграблению, и у кого из них на руках были кольца или перстни, лифлянды отрубали их с пальцами. Из крепости вывозили орудия, вытаскивали из городен и грузили на подводу сено и овес. Городовая зеленая* казна и съестные припасы, оружие и кони — все стало добычей победителей. Да, с большим и богатым обозом возвратится виленский воевода гетман Мелецкий к своему королю.

Иван Соколов отодвинулся от щели. А что же делать ему? Ведь скоро поляки и немцы доберутся до всех башен и городен. Тогда найдут и его. Знал он, правда, что под нижним мостом башни есть лаз в шанцы, сделанный совсем недавно, но ему одному туда не добраться. Иван огляделся. Рядом с ним лежали бердыш и пишаль-ручница. Берендейка** с

* Зеленая пороховая.

** Берендейка широкая перевязь через плечо у стельцов с кармашками для принадлежностей.

пороховницей, мешком для пуль и меркой для пороха тоже была рядом. Теперь он готов встретить любого, кто придет сюда за ним. И если уж суждено погибнуть, то жизнь свою задаром не отдаст. Вот только выстрелить успеет всего раз. И стрелец решил поискать еще хотя бы одну пищаль. Он подполз к выходу на прясло стены и выглянул за порог. Ближе всех из убитых стрельцов лежал почти у самого порога — Иван сразу узнал его — Нечай Никитин. Рядом валялась пищаль, а по другую сторону тела Иван с изумлением увидел светлое полотнище полкового стяга на древке с набалдашником. Осторожно, чтобы не заметили враги, Иван подтянул к себе Нечаеву пищаль. Трудно было достать древко знамени: пришлось почти перелезть через порог.

Вернувшись на свое место в башне, Иван первым делом стащил с древка полотнище стяга и запихал его под кафтан на груди. Потом стал заряжать Нечаеву пищаль. Он засыпал в дуло мерку пороха, ударил рукой по казенке, чтобы порох тот лег ровно, опустил туда пулю-окатыш и войлочный пыж. Затем шомполом прибил все это, проверив кремни и огниво замков у обеих пищалей. Оставалось, если враги сюда полезут, сыпануть на полку у запала пороху и нажать на спуск. В чем другом, а в пищальном стрелянии Иван был искусен: из своей ли ручницы, из чужой ли мог даже на лету сбить птицу.

Стрелец опять хотел было глянуть в щель, но вдруг услышал внизу какой-то шорох, шаги, а затем и скрип ступеней. Кто-то поднимался по лестнице. Иван схватил пороховницу и притаился. Вскоре над полом показалась шапка с отворотами, а затем и сам человек быстро влез на мост. Он был молод и никак не походил на стрельца или другого какого воина, хотя одет был по-русски — в сапоги и длиннополую однорядку. К груди он прижимал какой-то сверток. Ивану показалось, что он где-то уже встречал этого парня с худым и бледным лицом. А тот, оглядевшись и увидев стрельца, замер, не зная что говорить.

— Ты кто? — первым спросил Иван.

— Свой я... свой.

— Да вижу, что не чужой.

— Тимоха я... Тимоха Савельев. Писец я разрядного приказа.

Он отогнул полу однорядки, под которой на поясе висели медная чернильница да перница с пером. Иван сразу же вспомнил, что видел Тимоху в приказной избе.

— А-а, я видал тебя, когда вы нас в книги свои писали.

— Писали, писали, — обрадованно закивал головой Тимоха. — Мы сюда в Сокол с государевым войском пришли.

Разрядный приказ, где служил писец, ведал всем государевым войском, жалованием ратным людям, порубежными крепостями со всеми их

жителями, землями и строениями. Служилые же люди приказа — писцы и дозорщики — вели записи в своих разрядных, переписных, окладных, дозорных и прочих книгах.

— И зачем нас писать было? Мы ведь стрельцы не стременные*, а по прибору** взятые. Нас бирючи в базарные дни кликали.

— Для государя все едино. Стременной стрелец, по прибору ли служит, казак или пушкарь — всем жалованье положить надобно и о каждом из воинских людей ведать.

Иван знал про это. Он пошел в стрельцы доброй волей, хотя приборные, в отличие от прочих, не получали земли, а лишь денежное и хлебное жалованье. Давали рядовым, каким и значился в списках Соколов, на год денег двадцать пять алтын, два пуда соли, да по десять коробей ржи и овса. Но Иван говорил о другом. Он показал на узкое оконце.

— Теперь никому и ничего уже не надобно. Одни убиты, других в полон увели. Видал, чай.

— Видал.

— Вот и выходит, что зря писал.

— Нет, не зря,— не согласился писец.— У всех кто-нибудь да дома остался. Жёнки, дети малые, отцы-матери.

— Твоя правда, Тимоха. Видно, не зря служишь ты государю.

— А тебя как звать-величать? — спросил Тимоха.

— Иваном. А ты что там внизу делал?

— Сперва смолу горячую в котле кипятил да на стену таскал. А когда они ворвались, так я сюда убежал. Стрелять-то я не умею, а другого ничего у меня нет. И книгу спасти надо,— писец показал на завернутую в тряпицу книгу.

— Теперь что делать будешь? Скоро ведь сюда заявятся поляки.

— Не знаю. Может, не явятся. Двери я запер.

— Пока им не до этого, но потом придут. Так что надо уходить.

— А ты?

— Знамо дело. Тебя, видно, мне Бог послал. Нога у меня ранена. А теперь с тобой по лестнице и спуститься можно. А там я выход на волю знаю.

— Но светло ведь. Нас заметить могут.

— Разве найдешь за стенами хоть одного? Да они сейчас все в городе. Добычу делят. Вон, посмотри...

* Стременные — высший разряд стрельцов.

** По прибору — то есть по добровольному набору, стрельцы-пехотинцы.

Иван опять прильнул к узкому оконцу, но вдруг, крестясь, отпрянул, изменившись в лице.

— Господи, что они делают! Да нечто можно творить такое? Смотри...

Тимоха тоже прильнул к оконцу. То, что писец увидел, заставило его вздрогнуть и ужаснуться. Там внизу на земле меж поверженных тел русских воинов ходили какие-то люди и среди них женщины. Они стаскивали с убитых сапоги и одежды, а потом... Господи, в самых черных мыслях не придет такое: они вспарывали животы и что-то там вырезали.

— Господи, спаси и помилуй! — отшатнулся от окна писец.

— Смотри, Тимоха... Смотри и помни.

Сам Иван про такие дела уже был наслышан. Стрельцы, побывавшие в плену у ливонцев, сказывали.

В походе с отрядами курляндских и лифляндских немцев всегда шли маркитанты. Они торговали съестными и прочими припасами. Женки их занимались еще и врачеванием, для чего, говорят, они вырезали жир и желчь у тучных убитых людей. Но Иван думал, что болтают люди страха ради, и мало верил разговорам. Для его русской души было невозможным представить себе такое преступление перед Богом и естеством человеческим. Ведь ни звери, ни безбожники даже не позволяют такого надругательства над мертвыми. Какому Богу эти изверги молятся? Но не Богу, видно, они, а сатане поклоняются. И все это похоже на игральные бесов.

— Ты все видел, Тимоха? — повернулся Иван к писцу. — Все видел и запомнил?

— Разве забудешь такое. Не бывало от веку.

— Так вот, Тимоха, — немного подумав, сказал Иван. — Все что видел, государю скажешь.

— Государю!? — изумился писец. — Как это?

— Ты сейчас сойдешь вниз. Там в углу под соломой найдешь лаз под мост, а ход на волю в шанцы сам отыщешь.

— А ты?

— А я... — Иван помолчал немного. — Я пока тут останусь. Если успею, то к тебе приползу.

— Давай уйдем вместе, Иван.

— Нет, Тимоха, я, дела не сделавши, не уйду. Да вместе нас и словить могут. Ты первым пойдешь. И вот что еще государю передашь.

Иван достал из-под кафтана камчатое полотнище боевого стяга и развернул перед Тимохой. На белом поле знамени ярко блеснули парчовые кресты, звезды и лик Спаса с ангелами в верхних углах. Тимоха перекрестился и принял знамя.

— Спрячь подальше под кафтан на груди и береги.— наказывал писцу Иван.— Пуще глазу береги.

— А как же я государю-то все скажу? Где я его увижу?

— Когда на тот берег выберешься, то иди по псковской дороге. По ней сюда в Сокол наши идут. А ты им навстречу.

— А если попадусь? — сомневался Тимоха.

— Не должно и быть такого... Правда и вера светлее солнца. Бог тебя оборонит. Не бойся, ступай.

Тимоха поклонился Ивану и пошел к лестнице.

— Стой! погоди! — вдруг остановил его стрелец.— Совсем забыл. Вот тебе сума моя. Там хлеб и еще чего-то. Положи туда книгу свою. Легче нести через плечо.

Иван подал кожаную суму Тимохе. Затем снял с пальца медное кольцо и положил его в мешочек из-под пуль. Туда же, порывшись в кармане, бросил деньги.

— Найдешь там у наших в полку Тимофеева прибору стрельца Истомку Брагина в первой сотне. Это дружок мой. Все ему и отдашь. Тут кольцо и денег немного. Всего алтын да две деньги-московки. Пусть он жёнку мою Марью отыщет и все ей отдаст. Она с обозом отсюда отправлена. Да на словах пусть скажет, что, мол, кланяться велел Иван, чтобы ребят берегла и меня помнила. А я, скажи, о них всех поминал.

— Ты так говоришь, будто из жизни уходишь. Ведь ты отсюда выберешься?

— Выберусь, так все сам скажу. Обо мне не думай. Себя береги. Поди с Богом.

— Прости, Иван,— уже на ступенях лестницы поклонился опять писец.

— Прощай, брат Тимоха.

Иван Соколов дождался, пока не затихли на лестнице и нижнем мосту Тимохины шаги. Затем он глянул в оконце. Маркитанты продолжали свое гнусное и мерзкое дело. Иван взял пищаль и просунул дуло в щель. Насыпав на полку и в запал порошу, стрелец стал целиться. Он выбрал маркитанта, который копошился с жёнкой как раз в том месте, где лежал воевода Шеин. А когда маркитант выпрямился, что-то говоря своей жёнке, стрелец нажал на спуск.

Выстрел показался Ивану почему-то очень громким. Заложило уши. Щель и башню заволочло густым белым дымом. Из-за него Иван сначала не мог знать, попал или нет в маркитанта, а когда дым рассеялся, увидел, что тот лежал, уткнувшись лицом в испоганенную им же землю, а жёнка его кричала что-то, показывая рукой на башню. Вскоре ворота башни затряслись под ударами ливонцев. Но засов был крепок, и им долго пришлось повозиться. На лестнице Иван из второй ручницы уложил

еще одного немца, но больше ничего сделать не смог. Враги ворвались в башню и по прыслу стены и по лестнице...

...Ивана выволокли на волю и потащили вправо от ворот, где неподалеку от стены горел костер, на котором при осаде защитники кипятили горючую смолу, а сейчас ливонцы в своем котле готовили себе какое-то варево. Черный же смоляной котел стоял далеко в стороне. Ивана Соколова латники поставили у самого костра, по другую сторону которого сидел на перевернутой кадушке усатый ливонец, рядом с ним прямо на земле лежали шлем и панцирь. Он с интересом поглядел на поставленного перед ним стрельца, потом крикнул по-немецки:

— Позовите Казановского!

— Я здесь, пан Флейшер! — почти тут же откликнулся из толпы, окруживший костер ливонец, коротконогий человек в легком кафтане и с кривой саблей на боку и подскочил к сидевшему на кадушке немцу.

Тот что-то сказал поляку.

— Пан сотник спрашивает: как зовут тебя? — обратился к стрельцу Казановский.

— Иваном... Иван Соколов, так и зовут.

— А еще пан Флейшер спрашивает: почему ты стрелял сейчас в наших людей?

— Да разве это люди? — гневно сказал Иван.— Люди вон — лежат на земле.

— Они погибли в бою, а ты стрелял, когда бой уже кончился.

— Я видел из башни, как они погибли! Как вы убивали безоружных и пленных! Как грабили живых и мертвых!

— Но это награда за ратный труд. Если бы вы взяли крепость, то делали бы то же самое,— сказал Флейшер.

— Нет. Не бывает, чтобы русские лежачих били. Нет у нас такого ратного обычая. Это противно и душе и вере нашей, потому как вера наша православная чистая и светлая. Она запрещает варварство. Ни пленный, ни мертвый русскому не враг.

— С нами Бог! Мы тоже молимся Богу.

— Дьяволу вы молитесь! Что это у вас за Бог, ежели позволяет глумиться над телами павших. А еще христианами зоветесь!

При этих словах Ивана переводчик вдруг остановился и глухо сказал:

— Это не мы, не поляки. Это делали немцы.

— А вы были рядом. Стало быть, и вы. Вот и передай этому... что я стрелял не в человека, а в сатану.

— Но они, маркитанты, делали свое обычное дело,— ответил Флейшер.— Добывали что-то там для приготовления лекарства от ран.

— Богопротивное это дело совершалось варварским обычаем для колдовства. Бес направляет вас, бес.

— А ты смелый человек, Иван. Знаешь ли ты, что достоин смерти?

— Знаю,— спокойно сказал Иван,— и готов умереть за правду и веру нашу.

— Никак не могу понять этих русских. Ведь знал же, что погибнет, но, однако, стрелял... Но я люблю храбрых людей и могу сохранить тебе жизнь, если... ты встанешь на колени и сам попросишь меня об этом.

— На колени?! — воскликнул Иван.— Перед тобой!?

Стрелец плюнул и зло выругался.

— Что он сказал? — спросил Флейшер.

— Эти слова не переводятся, пан сотник.

— А ты, холуй, передай своему пану, что я на своей земле стою, а вас никто сюда не звал,— сказал Иван поляку.

— Ну что же,— заговорил Флейшер, когда выслушал Казановского.— Как говорят у нас в Курляндии, медведь останется медведем, хоть за море его своди.

Сотник крикнул своим латникам. Ивана снова подхватили под руки и потащили к смолянному котлу. Он догадался, что задумали с ним сделать немцы. Стрелец огляделся и, кроме врагов, никого не увидел. Они заполнили крепость и все еще нагружали подводы сеном, зерном, мукой, мясом. Из ворот зеленого сарая недалеко от стены начали выкатывать бочки с порохом. О том, чтобы бежать, и думать было нельзя... Ну что ж, пусть посмотрят враги, как умирают русские стрельцы...

Доставая из котла жидкую смолу черпаком, ливонцы облили ею толстый стеганый кафтан Ивана и опять поставили его перед сотником. А тот больше ни о чем не стал спрашивать. Лишь кивнул головой, давая кому-то знак. Один из латников зажег пламенник-факел и поднес его к кафтану стрельца. Облитый горячей смолой, кафтан вспыхнул, как тот пламенник.

Думал стрелец недолго. Он вдруг бросился на толпу врагов. Они от неожиданности расступились, а Иван рванулся к зеленому сараю. Стрелец бежал, широко раскинув руки, и был похож на огненную птицу. Все произошло так быстро, что стрельца никто и не подумал задержать. У самых ворот сарая Иван на мгновение остановился и, взмахнув горящими огнем руками, скрылся в темном проеме ворот.

Тотчас же страшной силы взрыв потряс крепость. Ни стены ее, ни окрестные леса и луга никогда еще не слышали такого грома. Он разметал во все стороны каменный сарай, похоронив под обломками множество врагов. Взорвались пороховые бочки у ворот, приготовленные к

отправке. Огонь перекинулся на соседние строения, и в крепости начался небывалый пожар. Остатки королевского войска стали спешно покидать горящий русский город Сокол.

НА ПОРОГЕ СВЕТЛОЙ ЗАЛЫ

I

Вот и кончено ученье! Если не считать завтрашнего последнего дня экзаменов. Да и что считать! Завтра во весь день будет одна декламация да торжественный акт раздачи наград. А ему ли, одному из первых учеников пансиона Константину Батюшкову бояться декламации! Да разбуди его даже ночью и он прочтет любой стих на языках французском, немецком и, конечно, на италианском. Ах, лучше бы досталось на италианском. Право же, он полюбил этот язык — язык пленительного Пет-рарки и великого страдальца Тасса.

А разве не ему принадлежит честь недавнего перевода на французский речи митрополита Платона, читанную великим проповедником при коронации императора Александра в сентябре прошлого 801-го года? Разве не передал он всю прелесть и благородную простоту сей смелой речи, отличающей льстецов и подлецов, столпившихся у трона и купающихся в роскоши? Сам Иван Антонович Триполи — владелец пансиона — признал сей труд воспитанника своего достойным печати и был горд этим...

Выбежав на улицу из дверей пансиона, Константин впервые ощутил вдруг себя вполне свободным человеком. Какое же это счастье делать то, что ты сам хочешь и считаешь нужным для себя! Хочешь — иди домой, хочешь — бери любого извозчика и поезжай куда глаза глядят... А куда же он идет сейчас? Конечно на Васильевский остров! Куда же еще. И Батюшков свернул на Невский проспект.

На главной улице столицы было заметно многолюднее, чем на иных. Батюшков любил бывать здесь. Невский проспект был для него подобен оси, вокруг которой то медленно, то быстро крутилось колесо петербургской жизни. Но сейчас, шагая по тенистому бульвару, что тянулся посредине проспекта от Фонтанки до Мойки, Батюшков никого не замечал — ни пешеходов, ни конных, ни экипажей, ни толпившегося народа у бесчисленных лавок торговых рядов, хотя вроде бы и смотрел на все как и прежде. Ему все еще не верилось, что завтра после экзамена и раздачи наград, какие кто заслужил, напутственных слов и прочих речей, обычных в таких случаях, он закончит пансион.

Не надо боле вставать рано по утрам, быстро одеваться с помощью полусонного и оттого ворчливого Федора, а потом бежать во весь дух по давно уже людным улицам Петербурга в пансион, чтобы — не дай бог! — опоздать к утреннему чаю, после которого начинались уроки.

Не нужно по вечерам, а то и ночью перед экзаменом, сжигая последние огарки свечей, долбить какое-нибудь «Введение в географию, служащее ко изъяснению всех ландкарт земного шара с государственными гербами и описание сферы с толкованием оной, ея кругов, движения звезд, древних и новых систем света и употребления глобусов и мер географических с фигурами», а в оном знать на зубок о том «не имеет ли земля каких нестройностей в своем виде, а именно: порядочного ли виду земля, или какое неровное и кривое тело, которое ямы и бугры имеет, без всякого прямого порядка»...

Батюшков не заметил, как окончился Невский и он очутился на адмиралтейском лугу перед самой верфью, окруженной высоким земляным валом и каналами. Перейдя один из них по деревянному мостку, он мимо храма Исаакия Долматского вышел на Петровскую площадь. Здесь между собором и мостом на высокой каменной волне вздыбил своего коня бронзовый всадник...

Многажды приходилось Батюшкову бывать здесь, пробегать на занятия в пансион и всякий раз при взгляде на статую великого Петра он невольно останавливался с каким-то необъяснимым чувством. Остановился Константин и сейчас, подойдя к самой решетке, ограждающей памятник.

Чудо! Право, чудо! И величие и простота были в этом памятнике слиты необыкновенно. Батюшков то ли читал, то ли слышал где, что ваятель сего монумента Фальконз увидел и показал в творении своем не императора и полководца только, а человека-благодателя и соиздателя новой России. Не так ли и сам великий Петр сто лет назад тому увидел здесь на поросшем лесом берегу древней реки дома и дворцы большого города — новой столицы своего государства. Увидел и изрек: «Здесь будет город!» Батюшков еще долго стоял, любуясь необыкновенным всадником. Да и Петр ли это!?

Сама Россия вздыблена на гранитной волне!..

...На Исаакиевском плашкоутном мосту — первом мосту через Неву, построенном после Петра (он мостов не любил и не строил), соединяющем Адмиралтейскую сторону с Васильевским островом как раз напротив монумента, Батюшков опять остановился. Снизу дохнуло холодком невской воды. Отсюда, с середины моста, вид на Петербург открывался глазу необычный. Батюшкову казалось, что взгляд его охватывал сразу

весь город. Вот Адмиралтейская верфь с валами по бокам, что боевая крепость, каковою она и была задумана, далее Зимний дом царей, за ним Летний сад, Троицкий мост на Петербургскую сторону, крепость с высоким и узким шпилем собора Петра и Павла, иглой вонзающимся в небо, а вот уже ближе сюда стрелка Васильевского острова, со множеством кораблей у причалов порта и шумным торгом на набережной. Кунсткамера, учиненная Петром для хранения всякого рода «монстров, раритетов и курьезитетов», дворец князя Меншикова, к которому выходил мост на той стороне.

Нева жила своей жизнью. Скользили по воде юркие лодочки перевозчиков. До самого Троицкого моста по реке плавали ялики, вельботы и прочие большие и малые суда и было их не менее, чем экипажей на улицах.

Не раз бывало, что, находясь здесь, Батюшков пытался себе представить, как выглядели эти места до устройства города. И он видел в своем воображении все ту же реку, несущую воды холодной Ладоги в море по древней русской ижорской земле, поросшие диким лесом невские берега, оглашаемые пушечными да ружейными выстрелами шведов и русских, сражающихся за эту землю. Видел он и царя Петра в окружении своих сподвижников, выбирающих место доброе для новой крепости, запирающей ход неприятелю вверх по Неве.

И был наверное такой же, как сегодня, день месяца мая в неделю пятидесятницы, когда крепость на Веселом острове самим Петром была «заложена и именована Санктпетербурх».

Не успели еще солдаты, обращенные в плотников и землекопов, крепость достроить, а уж в устье Невы прибыл голландский корабль, солью и вином нагруженный, под началом шкипера Выбеса. Ему вручил Меншиков пятьсот червонцев, назначенных Петром в награду для первого заморского гостя. То-то был рад государь Петр Алексеевич! Свершилось его правое дело и мысль давняя: вывел он Отечество свое на балтийские берега! Отворил в Европу двери. За первым кораблем приплывут и другие в новую столицу России-матушки Санктпетербурх..., Петрополь..., Питерпол..., Петрополис..., Новый Амстердам. А там, дай Бог, и сами торговые корабли снарядим. Держись, Европа! И указал в своем Парадизе править всё на голландский манер.

Батюшков рисовал в своем воображении картину за картиной: «в ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы, государь часто сживал на новом вале с планом города в руках против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной

доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними — простой рождением, великий умом — любимец царский Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства»...

Тогда многое, если не всё, было на этих берегах впервые. И первая морская победа россиян, и первые построенные корабли на новой верфи, перенесенной сюда из Лодейного Поля, первые дома и первые петербуржцы в них — крестьяне окрестных селений. И первые отроки сели за столы по указу царя в новых школах: морской, навигационной, инженерной, артиллерийской, аптекарской, славяно-греко-латинской и прочих. Сели постигать разные мудреные науки, о коих прежде и слыхом не слыхивали. Год от года прибывало в новую столицу столько народа всяких чинов и званий своих и из-за моря, из стран западных, полуденных и полуношных, что такого и не снилось первопрестольной матушке Москве.

Не тогда ли изрек Петр сподвижникам своим: «Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет тридцать тому назад, что мы с вами здесь, у Ост-Зейского моря будем плотничать и в одеждах немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране воздвигнем город, в котором вы живете; что мы доживем до того, что увидим храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными; что увидим у нас такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи?...»

...Батюшков спустился по откосу с моста у полосатой будки и пошел вдоль набережной к Стрелке. Здесь, в одном из самых бойких мест Петербурга былолюдно и шумно, как на Сенной или Ямском базаре. Какого народу тут только нет! На плоту у берега бабы полощут белье, водовоз у самой воды набирает воду в бочку. По набережной прогуливаются няни с чадами, офицеры и прочие господа с женами. У мелочных лавок толпится разный люд. Снуют туда и сюда лоточники с подносами на головах, молочницы с кувшинами на коромыслах. У причалов порта на самой Стрелке мачты иностранных кораблей. Тут же на берегу иноземцы-матросы, торгующие всякой всячиной, работные люди, разгружающие баржи с зерном, сеном и прочим товаром. В глазах рябит от многолюдства... И Батюшков ловит себя на мысли, что смотрит на все это

другими глазами будто впервые, отмечая про себя каждую мелочь. А ведь бегал здесь в пансион господина Жакино каждодневно, и, оказывается, многого не видел, хотя на все и смотрел не однажды.

Ну разве посмотрел бы он раньше, пробегая здесь, с таким же интересом вот на этого обыкновенного извозчика — «ваньку», каких на каждом углу встретишь. И кажется сейчас он ему святочным ряженым, потому как сидит он на выкрашенных желтой краской дрожках, на голове его шляпа с желтыми же лентами, и подпоясан «ванька» желтым кушаком, а на спине бляха с номером. Или вот этот бойкий разносчик, громко расхваливающий лубочные картинки и гребешки, грудой положенные на лоток...

Отчего бы это?.. Верно оттого, что сейчас ему, Константину Батюшкову, спешить некуда. Верно время такое пришло, когда надо остановиться, оглядеться, помыслить. Миновав шумную Стрелку, Батюшков, наконец, остановился у Пятой линии перед небольшим трехэтажным домом, выходящим своим фасадом на набережную.

Зачем он пришел сюда? Что привело его к этому дому-пансиону Осипа Петровича Жакино, куда пристроил его — десятилетнего отрока — батюшка Николай Львович пять лет назад? Вот уже минул год как он покинул этот дом, перейдя в другой пансион Ивана Антоновича Триполи. Но не было, наверное, и дня, чтобы Константин не вспомнил об этом, так милом его сердцу месте Петербурга. Он приходил сюда и раньше. Да и как не приходиться, как не помнить? Как забыть тот весенний день, когда они с батюшкой подъехали однажды к этим вот ступеням и поднялись на второй этаж дома, где встретил их небольшого роста человек с круглым добрым лицом — хозяин пансиона Осип Петрович Жакино? Константин уж и не помнит сейчас, о чем говорил с ним батюшка и на какие вопросы сам отвечал. Помнит только, что беседа была недолгой. Пришел надзиратель-француз, Константин распрощался с родителем и был уведен в класс здесь же на этаже. С этого и началась его новая жизнь, совсем непохожая на прежнюю. У порога этого пансиона оставил он тогда навсегда и тихое милое Даниловское с парком и речкой Ижиной, Устюжну и Вологду, поразивших его когда-то своей огромностью... Но что они по сравнению с Петербургом!!!

...Поначалу многое было для Константина необычно и диковинно. Но скучно не было. Да и как скучать, коли занимались в классах много: по восьми часов в день, проходя курс разных наук — математики, географии, истории, статистики и прочих. Здесь приобрел он познания в языках немецком и французском. Здесь узнал он о Вольтере и Руссо, да и соотечественников своих Третьяковского, Ломоносова, Сумарокова тоже

познал здесь на уроках русского языка. Не все учителя (а они были почти сплошь иностранцы) одинаково хорошо преподавали свои науки и спрашивали их. Иному и зубрежки довольно было. Но Константин учился прилежно по всем предметам: слово дал батюшке еще в Даниловском, да и самому было учиться в интерес и охотку...

А скольких товарищей сразу приобрел здесь Константин. Они всегда были рядом — и в классе, и в зимних играх, и в прогулках по набережным, когда надзиратели, построив учеников парами, водили по городу...

Добрый Осип Петрович... Господин Жакино... Все воспитанники любили этого эльзасского француза из Страсбурга, приехавшего в Россию задолго до сего. Он был не из тех иностранцев, кои во многом числе отирались по городским домам да усадьбам, и, служа учителями детей дворянских, часто даже писали с ошибками на своем родном языке, ибо у себя дома были поварами либо садовниками.

Осип Петрович Жакино уже много лет честно служил России на поприще просвещения и состоял в первом кадетском корпусе старшим учителем французской словесности. Сам не имея детей, сей добродетельный муж открыл пансион и занялся воспитанием чужих. И это получалось у него отменно. Он умел воспитывать словом. Наказывали в пансионе мало. Разве что помощник Жакино немец Коль или учитель танцев Швабе могли дать ученику «кокоса»: больно стукнуть по голове средним пальцем сжатой в кулак руки. Но это бывало редко и попадало так только озорникам...

Константину нравилось учиться здесь в пансионе Жакино и потому он огорчился, когда прямо из старшего класса, недоучившись зиму, был переведен батюшкой в другой пансион к итальянцу Ивану Антоновичу Триполи. Родитель тогда толком и не объяснил причину сего. Говорил он лишь что-то о безденежьи. И Константин понимал его: как никак, а были у батюшки еще три незамужние дочери Александра, Лиза и Варвара. Только сестрица Анна Николаевна была замужем за Абрамом Ильичем Гревенсом и жила здесь в Петербурге...

В пансионе Триполи — учителя морского кадетского корпуса — порядки были почти такие же, как и у Жакино. Тот же французский язык звучал с утра до вечера, те же учителя — иностранцы, те же надзиратели, следившие за каждым шагом воспитанников. Правда, было и новое — итальянский язык, которым Константин занимался с охотой. Новым был и хозяин пансиона Иван Антонович Триполи. Он, как небо от земли, отличался от Жакино. Сухой, темноволосый и нервный Иван Антонович, казалось, постоянно решал в уме какую-то задачу. Он все время о чем-то думал и уходил в себя даже па уроках, забывая при этом совершенно

о своих учениках. По обыкновению своему в первые два часа из своих четырех он разрешал ученикам готовить уроки, а сам, устроившись на кафедре, принимался что-то писать, отчаянно при этом жестикулируя, шепча и гримасничая. Поговаривали, будто сам Иван Антонович состоял в тайном братстве масонов, а, впрочем, он и не скрывал этого. Воспитанники над ним потешались, но порядком, устроенным Триполи на своих уроках, были немало довольны. Так ведь и учились худо.

Но Константин к тем не относился. Он и Ивану Антоновичу был благодарен. За итальянский язык, в коем преуспел и уже переводил из Петрарки и Тасса, за упражнения в штиле на уроках географии, когда Триполи, изъяснив материю, предлагал самим ученикам письменно ее изложить. Именно после этих упражнений Константин решился перевести речь митрополита Платона... Но все это уже позади. Завтра в последний раз он придет на экзамен и оба пансиона останутся у него лишь в памяти.

Постояв немного, Батюшков двинулся обратно и, уходя, еще раз взглянул на пансион, будто прощаясь... Так что же привело его сюда? Благодарность и добрые воспоминания? Конечно это... «Что есть благодарность? — подумал Батюшков.— Память сердца... И дай-то Бог чувству сие испытывать всегда, во всю жизнь».

А благодарен он был не только пансионам. Здесь, в Петербурге Константин не чувствовал себя одиноким. Сестра Анна Николаевна, которую он любил, всегда принимала его хорошо. Но он сам редко бывал у нее: уж больно не по душе была ему строгость супруга сестры Абрама Ильича Гревенса.

Доюродный брат отца Михаил Никитич Муравьев, в доме которого на Караванной улице жил Константин, и друг батюшки пошехонский помещик Павел Аполлонович Соколов, который опекал его со времени переезда в пансион Триполи, были рядом с ним почти каждый день.

В любое время он мог обратиться к ним за добрым советом и помощью. Это ведь в благодарность за заботу о нем посвятил Константин свой первый труд — перевод речи митрополита Платона Павлу Аполлоновичу... А милая и добрая тетушка Екатерина Федоровна Муравьева, рядом с которой он чувствовал себя хорошо и покойно, как дома. Ах! Да что говорить! Судьба к нему благосклонна, коли одарила счастьем иметь рядом таких добрых людей...

Как жаль, что Павла Аполлоновича дела позвали в его пошехонские деревни и он не будет на торжественном акте в пансионе. Но там быть обещал Михаил Никитич и сегодня должен подтвердить это. Тогда надо поспешить домой. Батюшков прибавил было шагу, но вдруг увидел оди-

ноко стоявшего на углу извозчика и пошарил в кармане сюртука. Там было совсем немного монет. Константин редко ездил на извозчике, но знал, что через весь Невский извозчики берут два алтынника. Значит до дома будет довольно. Батюшков сел в пролетку и тронул медную бляху на спине извозчика.

— На Караванную, братец.

Дрожки забарабанили по торцовой мостовой назад к Исакиевскому мосту.

II

Проезжая опять мимо фальконетова всадника, Константин подумал, что ведь прадед его Андрей Ильич Батюшков служил при Петре Великом бригадиром и, наверное, видел того самого не раз. Да не только прадед, а и все в старинном дворянском роду Батюшковых верой и правдой служили отечеству своему.

По преданию семейному ведут Батюшковы род свой будто бы от какого-то служилого татарина Батыша. А татарин тот был ханской крови. Влюбился он однажды в дочку русского боярина, женился на ней, перекрестившись в православие, да и остался служить на Руси при великом князе. Так это было или нет — поди узнай. Только с той поры и ведут Батюшковы род свой.

Служил в приставах еще у отца Ивана Грозного великого князя Василия III Семен Батюшков. Преуспел он же и в посольском деле, когда при царе Иване ездил он послом царским в Молдавию и Валахию. Не каждому вверяли тогда такое дело.

Другой Батюшков, Иван Михайлович, в то же самое время ходил есаулом с царским войском в первый казанский поход. Тогда-то видно и жаловались они, Батюшковы, поместьями под Устюжной и были не последними среди дворян Железного Поля. При одном из них, Матвее Ивановиче, сельцо Даниловское с деревнями перешло Батюшковым из поместья в вотчину: награда за храбрость в войнах с поляками и турками еще при Алексее Михайловиче.

Росло, разрасталось ветвистое древо рода Батюшковых. Только у прадеда Константина, петровского бригадира Андрея Ильича было шесть сыновей. Долго сельцо Даниловское среди них переходило из рук в руки, пока не купил его отец Константина Николай Львович у своего дядюшки Ильи Андреевича вместе с деревнями Трестенкой, Терешихой, Брилино, Тимонино, Дора, Родимкино, Черная, Шустово, Исаково, Семенниково да Раменье.⁴

Ах, как хорошо должно быть теперь в Даниловском! Константин даже глаза закрыл, представляя себе родную усадьбу: старый дом с высокими колоннами и широким подъездом, парк и пруд перед домом, церквушка на горке, под которой тихо журчит речка Ижина. В это время там должно быть цветет черемуха и запах ее, приносимый еще не прогретым воздухом, проникает во все комнаты. А уж какая благодать в лесу или в парке, то и словами не высказать.

Как часто он мысленно приезжал в Даниловское. Вот и сейчас вообразил себе, как на таких же дрожках подкатил бы он ясным солнечным утром к родному дому... На крыльцо батюшка и милые сестрицы встречать его вышли. Вот он из пролетки выходит и первый поклон папеньке. Сестрицы едва дождалась, пока они с родителями обнимались. Обступили его со всех сторон. Тоже обнимают, целуют, тормошат, ведут в гостиную, без умолку говоря что-то: то ли спрашивая о чем, то ли отвечая ему, хотя он ни о чем и не спрашивает, а от счастья и сказать-то ничего не может, и только улыбается в ответ на ласки милых сестриц, молча повинуясь их воле...

...Впрочем, все это мечты только... Ему и в нынешнее лето в Даниловском побывать не придется. Как-никак окончен пансион и надобно службу искать. Так что поездку в Даниловское придется отложить. Но мечтать должно, ибо без мечты как же жить!..

...Батюшков открыл глаза. Ехали по Невскому. Миновал мост через Фонтанку, извозчик свернул с проспекта и вскоре выехал на Караванную. Батюшков остановил его, расплатился и к Муравьевым, где жил, пошел пешком.

Этот дом на Караванной был знаком всему просвещенному Петербургу. Да и сам его хозяин сенатор и кавалер Михаил Никитич Муравьев был широко известен в петербургском обществе — ученый, политик, философ, поэт. Окончив Московский университет в семнадцать лет, Муравьев своими успехами в поэзии известен был у российских литераторов. Тогда же, переехав в Петербург, он сам записался в лейб-гвардии Измайловский полк, но наук не бросил и, посещая академию, слушал лекции петербургских профессоров. Еще с детства знал латинский, французский и немецкий языки, здесь, в Петербурге, изучил греческий, английский, италийский. Автор прекрасных пиитических творений, знаток древних искусств, философии, литературы и истории, молодой лейб-гвардеец был замечен императрицей Екатериной Второй и она назначила его учителем своих любимых внуков Александра и Константина, преподавать им «Наставления в российском языке, в нравственности и словесности». Тогда же написал он для них и свой труд «Краткое содержание российской истории».

Завершив воспитание великих князей, Михаил Никитич вышел в отставку в чине полковника и, перейдя в гражданскую службу, пожалован был императором Павлом в сенаторы. Александр же, его воспитанник, взойдя на престол сделал его своим статс-секретарем у принятия прошений, в коей должности Муравьев и пребывал по сие время.

Его называли «вторым Шуваловым!» «Сей русский меценат не шадил ничего для помощи всеми средствами тем, кто посвящали себя наукам. Поощрял начинающих и помогал неимущим всем, чем только мог. Дом его всегда был открыт для желающих пользоваться его советами, наставлениями или даже деньгами. Он каждого принимал, с каждым обращался свободно, дружески всякого ласкал и разговоры его невольно привлекали слушающего на его сторону, внушали какое-то глубокое почтение и всякий, оставляя его, чувствовал борьбу ощущений: и наслаждение, полученное им в беседе мудрого человека, и сожаление о скором течении времени, о прекращении сего наслаждения».

Так говорили о нем. И все сие было правдой. Как правда и то, что сей государственный муж так близко принял философию Руссо, слова которого «человек велик чувством» повторял часто, что отпустил на волю всех своих крепостных, освободившись и сам от хозяйственных хлопот с тем, дабы всего себя отдать наукам, искусствам и добродетели.

В семейной жизни Михаил Никитич тоже был счастлив, женившись на дочери сенатора Федора Михайловича Колокольцева Катиньке. Умная и заботливая, она с первых же дней правила своим большим хозяйством сама. А оно было немалым: только приданого получила пятьсот душ да тысячу десятин земли в разных губерниях. Их дом на Караванной во всякое время был полон гостей, особенно по воскресным дням, когда Екатерина Федоровна устраивала семейные обеды. Тогда за стол садилось едва ли не сто человек.

Батюшков поселился у Муравьевых недавно, когда его попечитель Павел Аполлонович Соколов уехал из Петербурга. С тех пор заботу о нем взяли на себя Муравьевы. Они состояли с Батюшковыми в близком родстве. Михаил Никитич приходился Николаю Львовичу двоюродным братом: их отцы женаты были на родных сестрах из рода Ижориных. Константин проживал в отдельной комнате, а дядька его из крепостных, Федор, со слугами хозяев...

...Батюшков, войдя в дом, наказал лакею найти Федора и прошел к себе. Его жилище было скромным, но уютным: стол с подсвечником, бумагами, книгами на нем, два кресла да диван. В углу возле окна мольберт с картиной, которую он начал давно карандашом рисовать, но так и не смог пока кончить.

Константин скинул сюртук, взял было гитару и пробежал пальцами по струнам, но играть не хотелось и он прилег на диван. Ощущение счастливого приподнятого настроения не проходило. Ему казалось, будто он стоит сейчас на пороге чего-то неведомого и таинственного, на пороге какой-то иной жизни, где и радости и печали и наслаждения тоже будут иными. Константину представлялась та жизнь большой, наполненной светом и звуками залой, дверь в которую была чуть приоткрыта и оттуда призывно лилась полоса света.

С ним однажды уже было такое. И было наяву в детстве в Даниловском. Как-то зимой, едва выучившись читать, он заперся в одной из дальних комнат отцовского дома с книгой и опомнился лишь тогда, когда заметил, что свечи осталось немного. Боясь очутиться один на один с темнотой, он с этим затухающим огарком двинулся по темным комнатам и коридорам к гостиной. Тогда, он помнит до сих пор, было ему не то что бы страшно, но как-то тревожно и от этой темноты и от этих колышающихся теней на стенах. Он успокоился тогда только, когда увидел впереди в этом полумраке приоткрытые двери гостиной и полосу света. Зала была ярко освещена и оттуда доносились человеческие голоса — у отца были гости.

Вот и сейчас вся прежняя жизнь казалась ему таким путем, освещаемым свечой, к большой и светлой гостиной. Хотя — что зря говорить! — много было у него светлых и радостных дней, среди прожитых пока до сего дня. Но как не доставало ему все эти годы матушки! Заболев жестоким душевным недугом, с которым ничего не могли поделать и петербургские врачи, она здесь же в Петербурге и скончалась, когда Косте не было еще и восьми лет, а похоронена была на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Сколь слез он пролил, жалея матушку. Как ему всегда ее недоставало...

Но как же будет все-таки там — в другой, ожидающей его жизни? Он совсем не представлял себе этого. Да и, в самом деле, кто он есть? Выпускник пансиона Константин Батюшков. И все?! Конечно же нет. Он хорошо изучил языки. Он хорошо знает российскую словесность и даже сам пишет стихи. Им сделано уже довольно переводов. Он знаком с мыслями Руссо и Вольтера, Геллерта и Мерсье и иных философов. Он хорошо рисует, наконец!

Все так. Но куда сие ему употребить можно? Вот этого-то он пока и не знал в определенности. Можно пойти на гражданскую службу и начать карьеру чиновника, о чем ему настоятельно советует в каждом письме батюшка. Но канцелярская должность Константина мало привлекала. Лучше уж идти в службу воинскую и делать карьеру со шпагой в руках.

Хотя и батюшку понять можно. У него в самом начале карьеры были подрезаны крылья нежданно-негаданно...

А дело случилось такое...

Был Николай Львович, в то время пятнадцатилетний гвардии солдат Измайловского полка, однажды в гостях у дяди своего, отставного корнета конной гвардии Ильи Андреевича, который ему Даниловское продал. А к нему в село Тухани в те поры возьми да и заявись командированный из Петербурга для покупки лошадей «адъютант подпоручичьяго ранга» и сродственник Ипполит Опочинин. И в застольной беседе сказывал, что он не Опочинин, а сын английского короля и покойной государыни императрицы Елизаветы Петровны. Так бы дело разговором, может, и кончилось, да Опочинин по молодости лет, будучи в Калуге, болтал об этом в пьяном виде лекарю Нарвского батальона некоему Алексею Лебедеву, говоря, что он скоро будет чуть ли не императором, тот настроил донос генерал-прокурору Вяземскому об этих крамольных речах. Делу был дан ход и о нем тотчас же узнала бывшая тогда на престоле всероссийском София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, дочь Христиана Августа, владетельного герцога Ангальт-Цербст-Бернбургского и Иоанны-Елизаветы принцессы Голштейн-Эттинской, а попросту государыня императрица Екатерина Вторая.

Именным указом она учинила следствие. В тайную экспедицию были взяты Илья Батюшков и Ипполит Опочинин. Обвинялись они «в говорении важных злодейственных слов, показующих умысел их о лишении Ее Императорского Величества престола».

На допросах Ипполит Опочинин утверждал, что о своем, якобы царском происхождении он узнал из уст Ильи Батюшкова, а тому говорила о том покойная бабка его Анна Пребышевская. Что будто бы король приезжал в Россию тайно в свите посла английского. Тогда де он и встречался с императрицей Елизаветой Петровной. А генералу Опочинину Александру Васильевичу родившийся будто бы после того сын императрицы и короля был отдан на воспитание. Скорее всего была это просто шутка молодых офицеров, да только обернулась она нешуточным делом для всех, кто имел к ней касательство. А Илья Андреевич Батюшков, лишенный всех чинов и дворянского звания, был приговорен к ссылке в далекую Мангазею. С той поры его больше никто никогда не видел.

Пострадал и Николай Львович, хотя он «в материи слов» и не входил вовсе, а был лишь невольным свидетелем разговора. Из армии его уволили, исполняя утвержденный Екатериной приговор: «...чтобы однако же, когда он будет в полку, то дабы по молодости своих лет не мог о сем деле разглашать, то велено его от полка как он не в совершенных летах

отпустить, ибо по прошествии некоторого времени, особливо живучи в деревне, могут те слышанные им слова из мысли его истребиться. При свободе же накрепко ему подтвердить, что все те слова как они вымышленны Ильей Батюшковым, из мысли своей истребил бы и никому во всю свою жизнь ни под каким видом не сказывал».

Так и живет без вины виноватый Николай Львович с тех пор в своем имени. Служил он, правда, короткое время прокурором в Вятке, но уже давно пребывает в полной отставке...

...Впрочем надо во всем положиться на дядюшку Михайлу Никитича. Слава Богу, что рядом с ним есть такой человек. И от этой мысли на душе Константина стало покойнее... А может посвятить себя российской словесности! Ведь это его давнишняя тайная мечта, в коей он и себе боится признаться, а произнести вслух и вовсе не смеет. Он же любит мечтать! Вот также, к примеру, лежать и в своем воображении рисовать всякие картины. Бывает, ему даже не надо особо и стараться: картины возникают как-то сами собой и так же слова приходят. Откуда только и берутся. И он испытывает от этого истинное наслаждение, блаженство...

...Блаженство находить мечтой... Пстой-ка! Так это же стих!

Батюшков вскочил с дивана, сел за стол и схватил перо...— Блаженство находить мечтой... Души поэтов свойство... Так! Их сердцу малость драгоценна... Так, какая малость? Как пчелка на цветок... Нет... Как медом отягченна... Нет... Как бабочка влюбленна летает с травки на цветок...

Константин писал, переставляя и заменяя слова, писал торопливо, словно боялся, что мысль его, так неожиданно к нему пришедшая, упорхнет как та бабочка. Наконец, он закончил писать и поднялся из-за стола. Кажется что-то получилось! Он взял со стола лист бумажный и прочел вслух.

Но счастье певца

*Когда снискал себе он вольность и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой.*

Души поэтов свойство:

Блаженство находить мечтой.

Их сердцу малость драгоценна:

Как бабочка влюбленна

Летает с травки на цветок,

Считая морем ручеек.

Так хижину свою поэт дворцом считает.

И счастлив!.. Он мечтает...

А ведь получилось, право, получилось! Не стыдно будет прочитать даже Михайле Никитичу. Все эти стихи он поставит в свою элегию, которую

начал недавно и еще не показывал дядюшке. Только надо найти им место. Но это потом.

В комнату вошел Федор. Этот дядька из крепостных отца жил с ним в Петербурге с первого дня. Всегда аккуратен и прилежен, он был незаменим для Константина. Федор содержал в чистоте и порядке жилище своего молодого барина, заботился о платье, еде и прочих больших и малых делах. Даже счет всех расходов Константина Николай Львович возложил на верного Федора.

— Звали, Константин Николаевич?

Батюшков бросил бумажный лист на стол и сел в кресло.

— Звал, Федор, звал...

Федор вопросительно на него уставился.

— Скажи-ка, Федор,— продолжал Батюшков,— сколько там у нас денег осталось? Мне надобно новых книг купить.

Сухощавое лицо Федора сделалось грустным, будто в постный день.

— Так ведь, Константин Николаевич,— отвечивал он, почесывая короткую с проседью бородашку.— Деньги-то у нас кончились. Вы последние рубли на книги изволили истратить.

— Так уж ничего и не осталось?

— А что осталось, то я прачке отдал, да сапожнику. И еще должен остался.

— Кому?

— Прачке же гривенник, да в мелочную лавку пятак.

— Ну, братец, ты из своих бы заплатил.

— Так ведь, Константин Николаевич, у меня и своих нет.

— Как так нет? — удивился Батюшков.— Я тебе жалованье на пасху выдал. А ведь едва ли месяц минул тому.

Федор глянул на Батюшкова с каким-то сожалением, будто на неумышленныша, мало понимающего еще в сложности бытия.

— Из тех денег, что вы мне дать изволили, я домой в Даниловское с Василием послал. Ну и... пасха ведь была, да николин день недавно. Сам хотел у вас просить.

— Да где же я тебе возьму, коли у меня их нет? — Батюшков полез в карман сюртука.— Вот на днях папинежка придет. Сам жду.

Как все-таки дорого жить в Петербурге, да к тому же не имея никаких доходов. Одна только и надежда что на батюшку. В каждом письме просит Константин своего родителя о присылке ему необходимых денег на свои насущные нужды: покупку книг, бумаги, содержание себя и Федора и великое множество мелочных расходов...

— Вот возьми — подал Батюшков Федору монеты,— здесь хватит рассчитаться с твоими долгами. Да купи мне в лавке бумаги.

— Слушаюсь,— Федор пересчитал деньги и остался доволен.

— Поди узнай — дома ли барин Михайла Никитич,— сказал ему Константин.

— Они теперь в библиотеке. Спрашивали про вас и просили непременно к ним придти, как явитесь.

— Что же ты молчал?

— Так ведь вы и не спрашивали,— искренне отвечивал Федор.

— Никита не гулял еще? — спросил Батюшков.

У Муравьевых было два сына. С пятилетним Никитой Константин почти ежедневно ходил на прогулки. Младшему же Сашеньке было всего месяца два от рождения.

— Нет пока. И он вас ждет.

— Ладно, ступай, да принеси мне что-нибудь попить,— отпустил Батюшков Федора, а сам стал одеваться.

III

Отворив двери в библиотеку, Константин увидел Михаила Никитича сидящим за столом у окна и что-то читающего. Он даже и головы не поднял — так увлечен был чтением...

...Здесь, в этой знаменитой и богатой библиотеке дяди Константин бывал не однажды. Знала она разных людей, среди которых были и светила российской словесности, ее слава и гордость: Державин, Львов, Карамзин, Капнист. Константину не приходилось пока слышать здесь речи сих многомудрых мужей, но он надеялся на это...

Батюшков тихонько кашлянул. Михаил Никитич тотчас же оторвался от чтения и пошел племяннику навстречу. Доброе лицо его светилось улыбкой и он совсем не был похож сейчас на придворного сановника, хотя и был в богато расшитом зеленом камзоле, готовый для встречи просителей и гостей.

— Прости, душа моя, зачитался я,— говорил Михаил Никитич, усаживая Константина на диван.— Как успехи твои в науках?

— Сегодня был экзамен по географии.

— И что же ты отвечал?

— О явлении, доказывающем на обоих концах земли сжатую ее поверхность. Все хорошо прошло, а завтра последний экзамен-декламация и выпускной акт. Я желаю, дядюшка, чтобы вы завтра там были.

— Ну что ж, юноша,— весело сказал Михаил Никитич,— успехи твои похвалы достойны. И завтра я непременно на акте буду. А что, батюшка так и не придет видно?

— Теперь уж нечего ждать. Видно дела по имению держат. Теперь весна.

— Да, да,— согласился Муравьев.— А жаль, что я не смогу ныне обнять братца моего и старого приятеля. Как бы мы поговорили! Повспоминали прежде. Как давно я не был в родных краях. А ведь, бывало, в юные лета я часто приезжал из Москвы в родную мне Вологду. Да и позже из Петербурга. Помнится от поры той — с какой неохотой покидал я всякий раз Вологду и друзей своих, коих оставлял там. Да у меня даже об этом стихи есть!

Муравьев достал с полки книгу. По всему было видно, что разговор этот был приятен Михаилу Никитичу. Он еще более оживился, а глаза его светились радостью. Раскрыв книгу, он начал читать:

*Прости спокойный город, где дни мои молодые
Под сенью родины сны красили златые.
Я твой меняю кров на пышный Петрополь.
Но память мне твою с собой унести позволю.
Ах! память жизни сей, столь сладко проведенной
С нежнейшим из отцов, с сестрою несравненной.
Уже церковей твоих сокрылися главы,
О, Вологда! Поля, лишенные травы,
Являют сентября дыхание сурово:
Но нас повсюду ждет друзей свиданье ново.
Тебе обязанных сердца, родитель мой!
И в путешествии сопутствуют с тобой,
В гостеприимный кров, кров сельский приглашают
И старца седины цветами украшают...*

Константин знал эти стихи, как и то, по какому случаю они сочинены. Еще в детстве Муравьев с отцом своим Никитой Артамоновичем, который по делам службы «в инженерах» подолгу жил в Смоленске, в Оренбурге, в Архангельске, Твери, изездил множество дорог российских и побывал в разных городах. Так однажды, путешествуя с отцом из Москвы в Архангельск, они долго жили в родной ему Вологде. А на обратном пути в Петербург тоже останавливались там. Вот об этом-то путешествии и написал тогда юный Муравьев этот стих...

— Вот! — Михаил Никитич захлопнул книгу.— И сии вирши сочинены мною по пятнадцатому году. Подумать только, сколько минуло лет... А ты, Константин, давно ль бывал в Вологде? Ведь сей город и твоя родина.

— Давно не бывал, дядюшка. С той поры, как сюда уехал. Я уж его плохо и помню.

Живя в Даниловском, Константин с отцом каждый год наезжали в Вологду, которая из всех губернских городов была к их имению самая ближняя и где у них было немало родственников.

— Напрасно, мой друг, напрасно,— покачал головой дядюшка.— Сей город наш хоть и не так славен как иные города российские, но и он внес свою лепту в доброе дело для отечества. Через него торговали мы с Англией еще до населения Архангельска, а купцы их приезжали проживать зиму в Вологде. Преуспели вологжане в торгах сибирских и китайских. Некоторые же из мешан вологодских прославились в морских открытиях. Новые Колумбы, они посещали острова, отделенные безднами морскими от обеих краёв земли Азии и Америки... Так-то вот, юноша. Историю свою нам знать надобно. Ну, да, впрочем еще какие твои лета — все узнаешь. А я прочел речь митрополита московского, тобою переведенную,— переменил Михаил Никитич вдруг разговор.

— Ну и как вы ее находите, дядюшка? — спросил Константин.

— Я нахожу ее отменною. И по штилю и по надобности сего дела. В отечестве нашем немного найдется таких добродетельных честных и смелых людей, как митрополит Платон. Я тем более это знаю, ибо сам слышал его речи и проповеди не раз...

...Имя знаменитого проповедника и философа митрополита московского Платона, в мире Петра Левшина, сына дьячка из подмосковного села Чашникова, знала вся просвещённая Россия. Окончив в юности славяно-греко-латинскую академию, он принял монашество и был назначен учителем философии в семинарию Троице-Сергиевской лавры. Будучи её ректором, он встретил однажды своей речью императрицу Екатерину, которая приехала в Лавру после коронации. Речь произвела сильное действие и он сделан был наместником Лавры. На другой год при посещении Лавры Екатериной молодой проповедник, а было ему тогда двадцать пять лет, пародизнес новую речь. «О пользе благочестия» и императрица увезла его в Петербург, где он стал проповедником при дворе и учителем Закона Божия у наследника Павла Петровича. «Отец Платон,— говаривала всякий раз пораженная словами философа Екатерина,— своим удивительным даром слова делает из нас все, что хочет». Сам великий Вольтер, для которого перевели на французский язык одну из речей Платона, говоренную им «в память Петра Великого», прочитав её, сказал, что «эта речь есть знаменитейший в свете памятник ораторского искусства»...

— ...Ну, а что касательно посвящения труда твоего Павлу Аполлоновичу,— продолжал Михаил Никитич.— то я доволен, что ты умеешь быть благодарным. Будь добродетелен и через то счастлив будешь... А что же ты намерен делать дальше?

Константин пожал плечами.

— Не знаю, что и сказать вам, дядюшка. Ежели откровенно, то мне и писать охота, и служить надобно. Я прямо на распутье каком-то.

Муравьёв задумался. Быть может сейчас ему вспомнилось свое отрочество и беседы с другом своей юности и наставником Михаилом Матвеевичем Херасковым. И хотя Муравьёв тогда только-только начинал писать стихи, а Херасков был уже многоопытным человеком в жизни и в поэзии, он не чувствовал расстояния между ними благодаря дружбе и добродетельности старшего товарища своего, от которого он часто получал мудрые наставления, так необходимые в молодом возрасте...

— Да, Костенька... К несчастью, трудно быть светским человеком и писать. Одно вредит другому:

*Условия общества — для мыслящего цепи!
А тот, кто в обществе свой выдержал искус,
Зевает в обхожденьи муз...*

Служба для поэта не есть благо. Выходит, что надо найти такую службу, чтобы можно писать было. Дело сие я беру на себя... Читал ли ты когда-нибудь мое «Избрание стихотворца»? — неожиданно спросил Михаил Никитич.

— Читал,— ответил Константин,— и даже знаю его наизусть. Вот оно...

*Природа склонности различные вселяя,
Одну имеет цель, один ввиду успех:
По своенравию таланты разделяя,
Путями разными ведет ко счастью всех.
Глас трубный одному на поле брани сроден,
Победы шумной клик и побежденных стон;
Другому сельский кров и плуг с косою угоден
И на берегу ручья невозмущенный сон.
Я блеском оболещен прославившихся россов.
На Лире пробуждать хвалебный глас учусь,
И за кормой твоей, отважный Ломоносов,
Как малая ладья, в свирепый Понт несусь...*

— Спасибо, друг мой, спасибо,— заговорил после некоторого молчания Муравьёв,— я потому только тебя спросил об этом, что выбирая стезю стихотворства, ты знал сколь она многотрудна... В нашей земле, в наше время стихотворство не есть ни обогащение, ни степень к честям. Поэтом трудно быть, а легче офицером. Похвалы современников или

презренны, будучи куплены, или очень скупо расточаются. Кому из истинных стихотворцев была отдана справедливость?! Но другого я для себя не желаю. Иду тою же стезею, какую шли Ломоносов, Сумароков, Майков. Княжнин...

Похоже было, что Михаил Никитич говорил это не только для Константина, но и для себя тоже.

— Ты мне говорил, Костя,— обратился он опять к Батюшкову,— что пишешь элегию. Написал ли?

— Едва ли наполовину... Допишу после экзаменов.

— О чем она?

— О мечте. Я так и назвать ее хочу — «Мечта».

— Так прочти, что есть. Я хочу послушать.

— Стоит ли, дядюшка,— смущенно заговорил Константин.— Мне уж кажется, что стихи мои — суши безделки. Да и писать стоит ли?

— Э-э, нет, юноша. Я сам в твои годы начал рифмы плести да вот и по сей день отстать не могу. Читай, читай,— одобрительно сказал Михаил Никитич и перешел в кресло.

Константин поднялся с дивана, достал листки со стихами и начал читать:

*— О сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!*

Ты в душу нежную поэта

Лучом проникнув света,

Горишь, как огонь зари, и красишь песнь его,

Любимца чистых сестр, любимца твоего,

И горесть сладостна бывает:

Он в горести мечтает.

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,

Где ветр шумит, ревет гроза,

Где тень Оскарова, одетая туманом,

По небу стелется над пенным океаном;

То с чашей радости в руках

Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках,

И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,

И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.

О сладостна мечта, ты красишь зимний день,

Цветами и зиму печальную венчаешь,

*Зефиром по снегам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!..*

Батюшков читал, поглядывая иногда на Муравьева. Тот сидел, внимательно слушая племянника и, казалось, был им доволен. А когда Константин прочел стихи только что написанные, коих и чернила еще не просохли, и тем закончил чтение, Михаил Никитич вскочил с кресла и заключил племянника в объятия.

— Ты пиит, Костенька,— радостно заговорил он,— истинно пиит!

Муравьев взволнованно ходил по кабинету и был похож на человека, который только что нашел клад бесценный и теперь размышлял, как бы с большею пользой им распорядиться.

— ...И хижину свою поэт дворцом считает. И счастлив!.. Он мечтает! — повторил он последние строки, прочитанные Константином, и остановился перед ним.— Хорошо, право слово, хорошо!.. Тебе надобно учиться,— неожиданно сказал Михаил Никитич.

— Как... учиться? — не понял Батюшков.

— Дома будешь учиться, сам. Я тебе помогу... Ты, Константин, еще мало знаешь древних поэтов Греции и Рима. А по сему тебе надобно изучить их языки и читать по-латыни подлинных Горация, Тибулла, Виргилия, по-гречески Гомера и прочих древних историков. Тебе надо учиться у них. Тебе надо более читать и читать не все подряд, не ради только самого чтения.

Константин чувствовал, что Михаил Никитич был прав совершенно. То поле наук, какое он прошел в пансионах, было не так уж и велико. Древние языки они и вовсе не учили. Читал же Константин и вправду все подряд, без особого разбора и более всего французских авторов.

— Чтобы писать, надо знать более того, что ты сам знаешь, а чтобы знать, надо читать,— продолжал Муравьев,— человек, мало читающий, лишает себя многих случаев упражнять свой разум и сердце. Воображение его тупеет и понятия запутываются.

— Я вот и сейчас,— кивнул он на стол,— урываю время, чтобы почитать гомерову «Иллиаду»... Я мыслю так... Летом ты будешь жить у нас на даче, что по петергофской дороге. Станешь учить латынь и греческий, читать. Ну, а потом уж и писать. Ибо не приносит плода невозделанная нива... Службу-же я тебе на осень подышу. Ты согласен ли?

И дядюшка еще его спрашивает?! Да с таким учителем, как Михаил Никитич, Константин готов заниматься хоть день и ночь.

— Конечно согласен, дядюшка,— ответил он.— Я, право, не знаю, как благодарить вас за такую заботу обо мне.

— А-а, пустое. Я рад, Константин, что смогу помочь тебе. А отблагодаришь,— Михаил Никитич на мгновение задумался и улыбнулся своей доброй улыбкой.— А отблагодаришь стихами. Лучшего мне ничего и не надобно от тебя будет. А сейчас ступай, да смотри, не опаздывай к обеду. А я еще почитаю немного.

Константин благодарно глянул на дядюшку и вышел из кабинета.



Издание подготовлено к печати при поддержке
Администрации Вологодской области

СОДЕРЖАНИЕ

Грех игумена	3
Ночь царя Ивана	8
Русский Сокол	19
На пороге светлой залы	35

ГРЯЗЕВ Александр Алексеевич

РУССКИЙ СОКОЛ

Исторические рассказы

Редактор *А. А. Цыганов*

Художник *Э. В. Фролов*

Рис. *А. Н. Баикирова*

Сдано в набор 15.07.99. Подписано в печать 10.08.99. Формат 70×108/3. Бумага писчая.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 2,45. Тираж 999. Заказ 4526.

Вологодская писательская организация

160035, г. Вологда, ул. Ленина, 2.

ИП «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3

...Думал стрелец недолго. Он вдруг бросился на толпу врагов. Они от неожиданности расступились, а Иван рванулся к зеленому сараю. Стрелец бежал, широко раскинув руки, и был похож на огненную птицу. Все произошло так быстро, что стрельца никто и не подумал задержать. У самых ворот сарая Иван на мгновение остановился и, взмахнув горящими огнем руками, скрылся в темном проеме ворот.

Тотчас же страшной силы взрыв потряс крепость...

«ВОЛОГДА • XX ВЕК»

Александр ГРЯЗЕВ

«РУССКИЙ СОКОЛ»